SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- С. Ф. Годлевский
  -
  - Введение
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Заключение
  - Источники
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

С. Ф. Годлевский
Э.Ренан. Его жизнь и научно–литературная деятельность

Биографический очерк С. Ф. Годлевского

С портретом Ренана, гравированным в Петербурге К. Адтом

Введение

Среди прославленных писателей нашего времени Ренан занимает совершенно исключительное положение. Уроженец глухой отсталой Бретани, воспитанник католических монахов, посвятивший почти всю свою жизнь исследованиям по истории религий, он, казалось, был далек от захватывающих интересов дня, чужд своему времени и совсем не похож на своих современников, а между тем он пользовался не только громким успехом, но и несомненно глубоким влиянием. Его объемистые исторические и философские труды, подобно модным романам, расходились в десятках изданий и были переведены почти на все европейские языки. Выдающиеся писатели, такие, как Тэн, Леметр, Бурже, Флобер, Брандес и другие, признали его громадное значение, и всякий образованный читатель нашего времени так или иначе испытал на себе его влияние. Даже те, которые совершенно незнакомы с его произведениями, не могут поручиться, что это влияние их не коснулось, ибо Ренан обладал редким и драгоценным даром действовать как на ум, воображение и чувство, так и на совесть людей, являясь не только писателем в общем смысле этого слова, но и проповедником. Вот почему даже его литературные враги, не разделявшие его взглядов, не раз сознавались, что при чтении его произведений они невольно восхищались автором, убеждения которого возбуждали их негодование. А кто прочел все им написанное (около 40 томов), кто окинул одним взглядом величественное здание, воздвигнутое этим гением, тот должен испытать чувство невольного удивления, какое овладевает нами, когда среди современных неуклюжих громадных домов, казарм и фабрик мы вдруг видим величественные стены готического храма с тонкими, как кружева, орнаментами из камня, с чудными арками и с высокими остроконечными башнями. В произведениях Ренана, как и в готических зданиях, много тонких, изящных орнаментов и то же безотчетное стремление к небу, к вечному идеалу, скрытому от нас под ярко размалеванной завесой скоропреходящих явлений. А в глубине его миросозерцания, точно под сводами готического храма, царит таинственный полумрак, мешающий разглядеть тех богов, которым поклоняется прославленный писатель. Очень часто он произносит великие священные слова: истина, свобода, добро, справедливость, красота, Бог. Порою нам кажется, что Ренан молится, – столько глубокого искреннего чувства он вкладывает в свои произведения, – и вдруг после пламенной молитвы раздается его

тихий иронический смех над лучшими человеческими верованиями.

Да, Ренан – несомненно первоклассный, крупный писатель, но с неразгаданным еще миросозерцанием и с причудливым темпераментом сирены, затрудняющим до крайности критическое исследование его произведений. В нем ярко отразились непримиримые противоречия, терзающие лучших людей XIX века, в нем самым причудливым образом сочетались язвительная вольтеровская ирония, шиллеровский идеализм и страстная мечтательность Жан-Жака Руссо. Неудивительно, что писатель с таким разносторонним талантом и сложным миросозерцанием на первых порах встретил осуждение со стороны людей самых противоположных направлений. Доктринеры упрекали его в дилетантизме, клерикалы – в неверии, сравнивая его с Юлианом Отступником. Фанатики и ханжи всякого рода в творчестве Ренана усматривали зловещие признаки, свидетельствующие о полном разложении и упадке западноевропейской цивилизации, а поклонники, напротив, сравнивали его с великим идеалистом древнего мира Платоном и даже с Данте, предсказывая, что со временем, когда роль Ренана в истории умственного развития Европы будет выяснена надлежащим образом, возникнут особые академии для специального изучения его бессмертных произведений.

Но при оценке великого писателя нельзя довольствоваться подобными сравнениями и общими местами, ничего, в сущности, не выясняющими. Приходится прежде всего поставить категорический вопрос: в чем же именно заключается значение Ренана? Представляют ли его произведения действительно ценный вклад в науку и в литературу или же его обаяние и сила обусловливаются, как утверждают многие, лишь его авторской ловкостью и чисто внешними особенностями его литературного стиля? В последнем случае, очевидно, Ренан был бы недостоин своей славы и очерк его научно-литературной деятельности не представлял бы значительного интереса для русской читающей публики, знающей Ренана больше по слухам. Пока, однако, мы не находим в современной литературе удовлетворительного ответа на поставленные выше вопросы.

Обыкновенно при оценке значения Ренана указывают прежде всего на то, что всякому бросается в глаза, – на его звучный великолепный слог. Поль Бурже приводит по этому поводу отзыв одного из учеников Флобера, признавшего, что невозможно уследить, каким образом созданы фразы Ренана, до такой степени они представляются безыскусственными, несмотря на все их изящество и звучность. Без сомнения, такие исключительные

достоинства слога в значительной степени содействовали успеху Ренана. Но современная Франция насчитывает целую плеяду блестящих стилистов. Может быть даже Ренан выше их всех, хотя и это еще вопрос. Во всяком случае он не стоит вне сравнения, а в научных и философских произведениях изящество слога не имеет решающего значения. Мыслитель Ренан не мог бы явиться великим вождем своего времени, если бы он был лишь несравненным мастером формы. Но и значительные научные заслуги Ренана едва ли соответствуют его славе. Мы знаем, что некоторые специальные труды его, как например «История семитических языков», «Аверроэс и аверроизм» и толкования библейских текстов, пользуются известностью даже среди германских ученых, а научное значение его «Истории первых веков христианства», «Истории еврейского народа» и «Этюдов по истории религий» хотя и представляется спорным, тем не менее должно идти в расчет при общей оценке результатов его деятельности. Кроме того, в Лувре хранится немало древних финикийских памятников, вывезенных Ренаном из путешествия на Восток с научною целью. Но тем не менее как исследователь-археолог он, конечно, уступает Шампольону, Мариету, Ленорману и другим, обогатившим науку и музеи.

Как историк он поражает своею проницательностью и большою начитанностью. Он обладает удивительным даром воссоздавать по нескольким случайно сохранившимся чертам характеры выдающихся исторических личностей и целых эпох, но тем не менее, по мнению ученых специалистов, Ренан не выдерживает строгой научной критики. Наиболее прославленное из его произведений – «Жизнь Иисуса» – Жюль Варрон называет прекрасным романом. Давид Штраус, автор известного и тоже, впрочем, неудачного сочинения под тем же заглавием, отзывается об этом именно труде с некоторым даже пренебрежением. Словом, люди самых противоположных направлений, как например Брандес, Каро, Жанэ, согласны в том, что в произведениях Ренана, при всей его громадной эрудиции, сказывается недостаток научной точности и объективности. И потому, вероятно, как историк Ренан никогда не пользовался особенным авторитетом, подобно Гиббону, Ранке, Шлоссеру и Моммзену.

Остается вопрос: не заключается ли его значение главным образом в его философских идеях? Мельхиор де Вогюэ, задавшийся целью указать эти идеи, не нашел в них ничего самобытного. Все миросозерцание Ренана основано, на отрицании во вселенной какой-либо индивидуальной воли, действующей извне. Мир подчинен неизменным законам. Все в нем

обусловлено стремлением к постепенному развитию, проявляющемуся во времени. За пределами человеческой мысли нет на земле никаких следов более высокого сознания. Постепенно в человечестве вырабатывается коллективное сознание (в смысле Шопенгауэра). Основу общечеловеческого развития и счастья составляет наука с ее индуктивным методом. Но ведь все это лишь общие места, и, конечно, не в них заключается значение и сила Ренана. Но в чем же наконец?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить произведения Ренана в связи с его эпохой и происхождением. Эта связь должна непременно существовать, иначе он не мог бы достигнуть такой великой славы и бесспорного влияния. При разрешении поставленной нами задачи мы обратим особенное внимание на исторические и философские труды Ренана и коснемся его специально-филологических изысканий лишь настолько, насколько это необходимо для общей литературной характеристики. Нам предстоит нелегкая задача, ибо критическое исследование его произведений далеко не может считаться законченным, а во всемирной литературе немного найдется великих писателей, которые облекали бы свою мысль в такую изящную, но вместе с тем причудливую форму. «У меня двойственная натура, – не раз сознавался Ренан. – Когда одна половина моей души плачет, другая смеется». Оттого, может быть, в его произведениях так много самых поразительных противоречий и недомолвок. В этом по крайней мере отношении он – дитя своего века. Иногда кажется даже, что он намеренно затемняет свою мысль, чтобы затронуть любопытство читателя, у него сплошь и рядом попадаются такие, например, выражения: «Все может быть; предположим, что это правда, если только мы не ошибаемся». Он готов признать некоторую долю достоверности в самых противоположных воззрениях. Истина, по его мнению, заключается лишь в оттенках, и он неуклонно проводит этот принцип в своих произведениях, обращая особенное внимание на частности, на конкретную сторону вещей и по возможности избегая общих мест и догматов. Он как будто боится высказывать свои задушевные верования, или у него, может быть, нет никаких убеждений, а только мнения, непрерывно меняющиеся под влиянием новых впечатлений и обстоятельств?! Впрочем, это ведь общая черта людей второй половины XIX века, самыми характерными представителями которого в области политики являются такие деятели, как Бисмарк, Гамбетта, Биконсфилд и Наполеон, а в литературе – Ренан. Основатель оппортунистской партии Гамбетта прекрасно понял свое время. В одной из самых блестящих своих речей он дал настоящий лозунг своей партии,

провозгласив, что в политике, как и в науке, нет и не может быть никаких абсолютных принципов и что все должно приспособляться к обстоятельствам. Этот взгляд представляется во всех отношениях очень удобным, а потому и применяется слишком часто. Мы знаем, к каким последствиям он приводит в тех случаях, когда скептицизм отождествляется с полным отсутствием убеждений, превращается в уличное, дерзкое зубоскальство над благороднейшими человеческими верованиями и служит удобным оправданием гнусного предательства и громадных злоупотреблений.

Очевидно, подобный скептицизм и легкомыслие ведут к безысходной борьбе партий и грубому обману в политике, к шарлатанству в науке, ко всеобщему падению и шаткости убеждений. На самом деле человек, отрицающий все без исключения – науку, прогресс, добро, правду и Бога, – это злейший враг культуры, ибо он порвал все нравственные связи с человечеством. А в наши дни, когда такие уроды рождаются тысячами, изысканный скептицизм Ренана приобретает особенное значение и несомненный интерес в смысле знамения времени.

Как глубоко изменился мир! Прославленные скептики XVIII века вроде Гольбаха и Вольтера, грозные разрушители отживших традиций и верований в своем роде были тоже фанатиками, только не религиозного догмата, а отвлеченной идеи. Вера в безграничное могущество человеческого разума, воодушевлявшая революционных деятелей и мыслителей доброго старого времени в тяжкой борьбе с феодальным строем и средневековыми суевериями, в середине XIX века как будто угасает вместе с последними взрывами февральской революции. Революционные, деятели новейшей формации уже не верят в могущество человеческого разума, по большей части отрицательно относятся к науке, в отвлеченные идеи не играют, никаких деклараций прав человека не провозглашают, а ведут борьбу исключительно на практической почве, памятуя откровенный лозунг Бисмарка: «Сила выше права!» В газетных статьях, в речах адвокатов и вождей многочисленных политических партий проглядывает то же стремление судить обо всем на основании ближайших, иногда даже ловко подтасованных, фактов, избегая по возможности отвлеченных теорий. Наконец, сомнение в пользе и достоверности научных выводов и широких философских обобщений все сильнее и сильнее сказывается не только на современных полуобразованных массах, но и среди выдающихся прославленных писателей. Ренан является, быть может, самым сильным выразителем этого скептического настроения, направленного не только против верований, но и против

господствующих политических воззрений. И в этом его оригинальность. Все великие писатели приобретают чаще всего влияние благодаря какой-либо особенности своего гения. Шекспир поражает нас глубоким знанием человеческого сердца, Байрон – разочарованностью и могучим полетом воображения, Мицкевич – патриотизмом и яркостью изображения родных нравов и природы. Великие ученые и философы обыкновенно достигают бессмертия как творцы великих теорий, определяющих общее направление целых эпох или философских школ, у Гегеля мир является лишь воплощением абсолютной идеи, эволюцией свободного, постепенно сознающего себя разума, а логический процесс развития идей сводится к трем основным диалектическим моментам: к тезису, антитезису и синтезу, то есть к положению, отрицанию первоначального положения и к окончательному примирению двух крайностей. Огюст Конт, напротив, доходит до полного отрицания всякой метафизической идеи, отождествляя философию с системой абстрактных позитивных наук: астрономией, физикой, химией, физиологией и социологией, – классифицированных по степени возрастающей сложности явлений, подлежащих их исследованию. Умственное развитие человечества сводится, по мнению Конта, к трем основным моментам: теологическому, метафизическому и положительному. В области естествознания роль господствующей идеи XIX века сыграла дарвиновская теория происхождения видов путем полового отбора и борьбы за существование. Не беда, если со временем общепризнанные идеи, имевшие громадный успех, оказываются ошибочными, подобно чудовищной теории катастроф Кювье. Все-таки, в конце концов, умственное развитие человечества сводится к последовательной смене великих теорий, охватывающих доступный нашему познанию мир во всем его бесконечном разнообразии. Но скептик Ренан не верит в чудодейственную силу абсолютных идей, подобно метафизику Гегелю; не провозглашает себя, подобно гениальному больному труженику Конту, верховным первосвященником человечества; не ждет, что в конце XIX века установится новая духовная и светская власть; не назначает срока для окончательного торжества своих идей и не мечтает создать совершенную программу умственного развития, которую человечеству осталось бы только выполнить.

Вот в этом отсутствии господствующих теорий, в недоверии к религиозным догматам и научным доктринам и заключается характерная особенность переживаемой нами эпохи, наиболее совершенным выразителем которой является Ренан. К чему он стремится? В чем его вера? Вот вопросы, связанные очень тесно с более общим вопросом о значении и характере нашего

тревожного, тяжелого переходного времени.

По-видимому, безграничное сомнение уже достигло своего крайнего развития. Дальше идти некуда. Все осмеяно и оплевано, с тех пор как скептицизм вошел в моду и сделался достоянием улицы. И от такого великого и прославленного писателя, как Ренан, мы вправе требовать, чтобы взамен разбитых и осмеянных идеалов он дал нам хоть тень надежды впереди, чтобы он не преклонялся перед грубой силой, не менял своих убеждений по воле внешних обстоятельств, подобно Бисмарку, чтобы его скептицизм не превышал его стремления к истине и добру и чтобы он указал хотя бы далекий исход терзающим нас сомнениям. Поэтому при изучении его произведений мы обратим особенное внимание на их положительную сторону. Постараемся понять Ренана не только как скептика и разрушителя верований, но и как творца и провозвестника лучшего будущего.

Глава I

Детство и отрочество Ренана 1823—1838.

Жозеф Эрнест Ренан только по своей национальности француз, а по происхождению скорее бретонец, то есть принадлежит к особой расе, и теперь населяющей почти сплошь Северо-Западную Францию на рубежах Ла-Манша и Атлантического океана и происшедшей в V и VI веках нашей эры от смешения древних кельтов с беглецами из Великобритании. Низшие классы населения Бретани еще поныне сохраняют древне-языческое миросозерцание, слегка лишь облагороженное тысячелетним влиянием христианской веры, и древний язык, каким говорили их предки, кельты, сражавшиеся с Юлием Цезарем за 50 лет до Р. Хр.

И вот каким-то чудом, благодаря лишь силе первобытного народного духа, в эпоху крупных политических катастроф в современной культурной Франции, изрезанной по всем направлениям телеграфными и железнодорожными линиями, не особенно далеко от столицы мира Парижа сохранились еще такие глухие углы, в сравнении с которыми даже Чухлома, Чебоксары и другие захудалые города не показались бы особенно дикими и отсталыми. В одном из таких местечек, а именно в Трегье, приютившемся у подножия громадного средневекового монастыря, 27 февраля 1823 года в бедной семье родился болезненный недоношенный ребенок, которому со временем было суждено сделаться властителем дум своего поколения.

В первые два месяца своей жизни Эрнест Ренан был так немощен и жалок, что мать боялась за его жизнь. Было решено прибегнуть к колдовству, чтобы разгадать его судьбу. Старая знахарка Год, схватив его рубашонку, побежала к священному роднику и вскоре вернулась с сияющим лицом. «Он хочет жить, он будет жить, – кричала старуха. – Его рубашечка, брошенная в воду, не потонула». Впоследствии при встрече с Ренаном колдунья с блестящими глазами восклицала всякий раз: «О, если бы вы знали, как рукава вашей рубашки вздымались над водой».

В туманной стране легенд, волшебных тайн и старых сказок, как чудный сон, прошло все детство Ренана. На его глазах среди обломков поросших мхом гробниц, идолов и алтарей, так называемых кромлехов, менгиров и дольменов, тихо отходила в вечность древне-языческая и средневековая Бретань. На каждом шагу он встречал остатки глубокой старины, слышал последние песни народных гусляров и предания о великих подвигах неведомых героев. Вместе с простым народом он верил в тайны

священных и проклятых мест, в явления духов среди глухих болот и пустырей и молился в часовнях, воздвигнутых на перекрестках больших дорог, на вершинах диких скал и близ селений в честь местных святых, не признанных католической церковью, но с незапамятных времен служивших предметом поклонения для толпы. Среди этих святых особенным почетом на родине Ренана пользовался св. Ив, покровитель сирот, вдов и всех униженных. В ненастные дни, когда волны океана с глухим стоном разбиваются о прибрежные скалы, к нему обращаются с мольбою жены и дети рыбаков, застигнутых морскою бурей. К нему взывают о мщении несправедливо обиженные в глубоком убеждении, что их враг непременно умрет в течение года со дня произнесения известной молитвы. А в день храмового праздника все молящиеся, как один человек, падают ниц перед алтарем св. Ива, не смея поднять на него глаз, так как по местному поверью только при этом условии святой осеняет крестным знамением свой народ, а иначе рука его остается недвижимой, и по милости одного неверующего или любопытного все правоверные могут лишиться на целый год великой благодати. Немало также у бретонского народа святых – исцелителей от разных болезней. Ренан со слов матери рассказывает в своих воспоминаниях, как его отец был избавлен от лихорадки. На заре его привели к часовне местного святого. Туда же явился кузнец со всеми орудиями своего ремесла. Раскалив докрасна полосу железа, кузнец приблизился к статуе святого, грозно восклицая: «Сейчас же исцели этого ребенка, иначе я тебя подкую, как лошадь». Вера творит чудеса. Ребенок выздоровел.

Неудивительно, что среди населения, сохранившего под покровом христианства древне-языческие верования и дикое миросозерцание V и даже IV века нашей эры, очень часто встречаются случаи настоящей религиозной мании. Явления призраков там дело обычное. Ужас перед загробной жизнью и муками ада сказался в целом ряде поразительных народных поэм. Раскаяние и скорбь о страданиях Искупителя и святых мучеников доводят иных наивных простаков до полного экстаза, под влиянием которого степенные, по-видимому, люди ночью, случалось, покидали свои семьи и возвращались домой лишь на заре, усталые, с окровавленными руками. Потом оказывалось, что они тайком в окрестных часовнях вырывали стрелы из статуй великомучеников и гвозди из рук Распятого.

Семья Ренана, насколько можно судить по его воспоминаниям, ничем особенно не выделялась из этой темной, но глубоко верующей, тихой, терпеливой, несколько угрюмой и сосредоточенной массы тружеников-идеалистов. Все его

родственники, за исключением одного дальнего, составившего себе крупное состояние и положение в свете торговлей неграми, были бедны, как Иов, и совершенно неспособны к промышленной и торговой деятельности, которую они, впрочем, и не считали даже достойной порядочного человека. С незапамятных времен, в течение с лишком тринадцати столетий некогда воинственный род Ренанов, или Ронанов, проживал в ущелье Ледано, в стране Гоэло, занимаясь почти исключительно земледелием и рыболовством. В этой тихой, безвестной трудовой жизни веками накоплялся, по выражению Ренана, «капитал идей и чувств», который и составил громадное наследство гения. «Я чувствую, что я думаю за них и что они живут во мне», – замечает Ренан в своих воспоминаниях.

В конце XVIII века его дед совершил переход к городской жизни, переселившись в местечко Трегье, расположенное неподалеку от Атлантического океана. В эпоху революции старик Ренан выказал благородный патриотизм, отказавшись от выгодной покупки национальных земель, отнятых у их законных владельцев. События 1814 и 1815 годов подействовали на него ужасно. В то время Гегель еще не поведал миру, что победитель всегда прав, и старик никак не мог переварить гибели революционных идей; 19 марта 1815 года, рискуя сломать двадцать раз себе шею, с несколькими другими пламенными патриотами он взобрался на высокую башню, чтобы водрузить на видном месте национальное знамя, а когда вскоре там же появилось иное знамя, он буквально потерял голову. Он демонстративно появлялся на улице с громадной трехцветной кокардой, когда это было далеко не безопасно. Отец Ренана разделял эти чувства. Будучи неустрашимым моряком, он принимал участие в действиях адмирала Вилларэ и, взятый в плен англичанами, провел много лет на понтонах. Особенного влияния на развитие сына он не мог оказать, тем более что Эрнест Ренан родился, когда его отец был уже в преклонном возрасте и его сосредоточенное, вообще меланхолическое, настроение достигло крайней степени. Вскоре, как это часто случается в приморских странах с рыбачьим населением, он утонул, и лишь несколько дней спустя тело его нашли на берегах Гоэло. После этого его обедневшая семья переселилась к родственникам в местечко Ланион.

В противоположность отцу дядя Эрнеста Ренана, Петр, отличался чрезвычайно веселым и общительным характером и обладал поистине неистощимой фантазией. Его знали во всей стране, и в кабаках вокруг него собиралась целая толпа слушателей, которую он заставлял хохотать до упаду или дрожать

от страха своими сказками, прибаутками и историями. У Ренанов была недурная библиотека, которую во времена Карла X сожгли под влиянием красноречивой проповеди одного миссионера против растлевающего влияния светской литературы. Уцелело лишь несколько юмористических сочинений вроде «Жиль Блаза» и «Дон Кихота», и этого десятка случайно прочитанных книг да народных преданий для дяди Петра было вполне достаточно, чтобы создать под их впечатлением целый волшебный, фантастический мир. Благодаря сильно развитому воображению бедный скиталец оказался совершенно неприспособленным к практической жизни. Забавляя людей своими импровизациями, он постепенно дошел до крайней нищеты и рано умер, оставив по себе память добряка, не способного обидеть даже мухи.

Родственники Эрнеста Ренана со стороны матери отличались, напротив, большой практичностью и крайне консервативным направлением. Они принадлежали к избранному кружку зажиточной буржуазии города Ланиона. Но это были не современные буржуа-выскочки, ловкие хищники, скрывающие свои непомерные вожделения под личиной шаблонного либерализма и показной деловитости, а несколько наивные и, пожалуй даже, недалекие буржуа доброго старого времени, искренние приверженцы установленного порядка и ходячей морали. Бабушка Ренана, одетая всегда по моде того времени, когда она овдовела, являлась живым воплощением старых традиций и хорошего тона. В эпоху революции она усердно укрывала в своем доме непокорных священников, отказавшихся принести присягу на верность народному правительству. В ее салоне служили тайную обедню. При случае она была не прочь посмеяться над новорожденной республикой и патриотическими увлечениями своих родственников, в простоте душевной не подозревая, что играет с острым топором гильотины. Многочисленные тетушки Ренана, по большей части старые девы, жившие всегда вместе и без памяти любившие друг друга, до седых волос сохранили поистине святое простодушие и добрую старинную веселость. По праздничным дням они шалили, как дети. Полет пушинок от дуновения занимал их по целым часам, а внезапное падение импровизированного парашюта сопровождалось взрывами всеобщего смеха. Необходимо заметить, что глава этой дружной беззаботной семьи происходил из Бордо, и мать Эрнеста, бретонка только по своему воспитанию и миросозерцанию, сохранила до глубокой старости основные черты характера своих предков-гасконцев – неистощимую веселость и живость темперамента, – придававшие своеобразную прелесть ее рассказам из бретонской жизни. В соединении

гасконской насмешливости с мечтательностью и мистицизмом бретонцев заключался, между прочим, и секрет ее громадного влияния на впечатлительного Эрнеста, который в совершенстве усвоил ее оригинальную манеру рассказывать старые народные сказки и впоследствии с таким искусством воспользовался этой манерой в своих лучших произведениях. От матери Ренан впервые научился понимать древние сказания из мира, столь непохожего на тот, в котором мы живем, видеть, по его выражению, глубоко под землей и слышать легкий шорох, которого уши обыкновенных людей не различают. Он сознается, что ей именно обязан впечатлительностью и глубоким чутьем, обусловившими впоследствии несравненное совершенство его слога. Самые искренние страницы в его воспоминаниях, изображающие так жизненно и художественно типы простых, верующих и кротких мечтателей из народа, сумевших в нищете посвятить свою жизнь служению высшим религиозным идеалам, написаны Ренаном в форме рассказов его матери, с которой до последнего ее часа он был связан глубокой привязанностью и полным взаимным пониманием.

Первоначальное образование Ренан получил дома, а затем в небольшом духовном коллеже при монастыре Трегье, следуя общепринятому порядку. Другое было немыслимо: молодые бретонцы, не имевшие собственной земли и не желавшие стать моряками, учились лишь для того, чтобы сделаться впоследствии служителями церкви. О светской карьере не могло быть и помину, ибо бретонцам светская жизнь представлялась чуть ли не сплошным соблазном и грехом. В 30-х годах в Бретани все воспитание находилось в руках духовенства, которое по своим педагогическим приемам недалеко ушло от суровых и ограниченных взглядов, господствовавших в XVI и XVII веках. Латинский язык там преподавался, как в эпоху Возрождения, без методы и почти без грамматики. Впрочем, это была бы еще небольшая беда. Эразм с гуманистами доказали на деле, что эта метода не так плоха. Но, что гораздо хуже, все миросозерцание духовных отцов было проникнуто самым невежественным суеверием, о каком можно составить понятие, разве лишь изучая историю умственного развития IV и V веков нашей эры. О естественных науках, о критике, о философии не могло быть и речи. С наибольшим пренебрежением относились к величайшим идеям XIX века в области истории, литературы и естествознания. Особенно в области литературы почтенные отцы вели беспощадную борьбу с новейшими веяниями. Последними французскими поэтами они признавали аббата Делиля и Расина-сына. Все, что было написано в эпоху романтизма, как будто

вовсе не существовало. Даже для правоверного Шатобриана, не говоря о начинавшем тогда входить в славу Викторе Гюго, не делалось в этом случае никаких исключений, ибо эти писатели говорили о радостях и страданиях плотской любви, о мирской суете, о славе и вообще о греховных вещах, столь ненавистных религиозно настроенным сердцам. Казалось бы, благочестивый и мечтательный Ламартин мог отвечать этому настроению, но и он не избег общей участи только потому, что внушал слишком правоверным отцам некоторые смутные подозрения. К изучению истории применялись не без успеха те же хирургические приемы. Дальше чтения устаревшей книги Роллена не шли. Революция и Наполеон внушали такой ужас, что о них старались по возможности не упоминать. О существовании Первой Империи Ренан впервые узнал от привратника, обладавшего целой коллекцией лубочных портретов. «Вот Бонапарт, – указал старый служака на один из портретов. – Ах, это был великий патриот!» Такова была система воспитания на другой день после революции 1830 года.

Без сомнения, способность к самостоятельному мышлению при подобных условиях не могла развиваться, но, будучи гибельным для ума, клерикальное воспитание благотворно влияло на характер воспитанников. Погрязшие в средневековых понятиях о жизни, ограниченные в познаниях своих, духовные отцы, по словам Ренана, отличались безукоризненной нравственностью, прямотой и искренним расположением к своей пастве. Высшее духовенство жило в великолепном епископском дворце, говорившем о блестящей дореволюционной эпохе, когда Трегье служило резиденцией епископа, не признаваемого, впрочем, правительством и сбежавшего в разгар революции. Лучшие дома в местечке тоже принадлежали прелатам, жившим по-барски; но простые священники, непосредственно руководившие делом воспитания, жили очень бедно, являясь примером благочестия, скромности и преданности своему долгу. «Я провел, – говорит Ренан в своих воспоминаниях, – тринадцать лет под ферулой духовенства и не видел никогда и тени скандала, я встречал только хороших священников. Все, что говорят об их испорченности, – вымысел». Понятно, что подобные воспитатели внушали полное доверие своим подопечным. Наставники всем сердцем верили и любили истину. И хотя эта вера подчас была слепа, но они благотворно влияли на учеников силой бескорыстного истинного чувства.

«Чистота нравов, – говорит Ренан, – была предметом особенных забот для них. Их требовательность в данном случае находила оправдание в их безупречном поведении. Своими

поучениями они так глубоко на меня подействовали, что сохранили всю мою юность от малейшего соблазна. В их словах чувствовалась какая-то особенная торжественность, повергавшая меня в изумление и трепет, от которого я не могу отделаться даже теперь при одном воспоминании об этом. Особенно меня поразил случай с Ионафаном, который умер, вкусив меду. Это послужило мне поводом для бесконечных размышлений. Разве возможно умереть от капли меду? Проповедник этого не объяснял, указывая лишь с особенной силой на смертельный исход. В другой раз текстом для проповеди послужили слова Иеремии: „Смерть входит через окна“. Я был еще более заинтересован. Возможно ли это? А проповедник говорил так убедительно, с наморщенным челом и с поднятыми к небу глазами. Но больше всего меня поразили слова какой-то благочестивой особы XVII века, сравнивавшей женщин с огнестрельными орудиями, которые ранят издали. Насчет силы удара у меня не было сомнений, но я не мог понять, каким образом женщина может уподобиться пистолету. Но в устах наставников, внушавших мне безусловное доверие, все подобные благоглупости волновали меня до глубины души. Даже теперь в моей бедной отцветшей душе эти впечатления еще не изгладились. Я вынес из этой школы два безусловных убеждения: первое, что всякий человек, не лишенный чувства собственного достоинства, может посвятить свою жизнь достижению только идеальных целей и что все прочее – дело второстепенное, ничтожное, почти постыдное; и второе, что христианство есть высший идеал».

И это стремление к идеалу осталось у Ренана даже после ужасного крушения самых дорогих верований. С юных лет он проникся таким глубоким отвращением ко всему пошлому и низменному, что даже легкомысленная парижская жизнь своим грязным прикосновением не могла стереть глубоких и чистых впечатлений детства. Религиозные воззрения народа и семьи Ренана вызвали сильный отклик в его впечатлительной душе. В детском возрасте он уже проявил большую склонность к идеализму и мечтательности. Во время молитвы, незаметно увлеченный смутными мечтами, он рассеянно глядел на старинные иконы в резных золоченых рамах и думал о подвигах великих и святых людей. Он как будто уже тогда томился безотчетным предчувствием своего призвания и ожидавшей его славы. Шести лет от роду на вопрос своей кузины о предстоящей ему карьере он ответил, что будет сочинять книги.

Впоследствии, когда Ренану минуло 13 лет, несмотря на тяжкий гнет сурового монастырского воспитания, в нем

заговорило чувство. Его нежное сердце робко просило счастья… Но среди своих школьных товарищей он не встретил друга по душе. Изнеженная наружность Ренана и робкие манеры служили поводом для грубых насмешек с их стороны. Его звали барышней, от него отворачивались. И незаметно, не отдавая себе даже отчета в чувстве, вызвавшем это сближение, он подружился со своими сверстницами. Он, конечно, стоял выше их по своему развитию, но их скромность, изящество, наивность действовали на него так обаятельно, что он относился к ним с некоторым даже благоговением, сознавая себя в их присутствии или ребенком, или педантом. И это чувство платонического благоговения перед совершенной женской красотой он сохранил до глубокой старости. Впоследствии, вспоминая о своем первом увлечении, он замечает, что живая красота выше таланта, гения и даже добродетели, так как истинно прекрасная женщина не только в своих поступках, но в личности своей воплощает всю прелесть жизни, все лучшие человеческие мечты.

Среди юных подруг Ренана одна особенно глубоко затронула его сердце. Ее звали Ноэми. Очаровательная блондинка с нежными и несколько лукавыми глазами цвета васильков, она казалась образцом изящества и ума. В ее обращении с Эрнестом сказывались и детская доверчивость, и расположение старшей сестры. Она была старше его года на два. О любви, конечно, не было произнесено между ними ни слова, но их глубокое взаимное влечение проявлялось в полном согласии мнений и в стремлении водворить в их маленьком кружке сладостную гармонию, переполнявшую их юные, наивные сердца. Иногда во время прогулок по окрестностям они пели старинные сентиментальные песенки вроде *«Плачет, плачет пастушок».* Случались при этом уморительные сцены ребяческой ревности, когда нерешительный и слишком мягкосердечный Эрнест пытался ответить хоть некоторой взаимностью на увлечение одной некрасивой девочки, только потому что не мог равнодушно видеть ее слез и ревнивых вспышек. Ноэми так мило смеялась над наивностью Эрнеста, что он в конце концов еще более увлекся ею.

Но эти мгновения чистого, светлого чувства промелькнули, как чудный сон. Ренан в 13 лет уже был так поглощен мыслью о служении церкви и Богу, так подавлен религиозной диалектикой, так увлечен неземными мечтами, что без особенной борьбы освободился от этих нежных уз и только впоследствии испытал всю горечь воспоминаний о безвозвратно утраченном счастье. Образ кроткой Ноэми долго преследовал его среди шума и блеска парижской жизни, и дорогое по юношеским воспоминаниям имя он дал много лет спустя своей дочери. А Ноэми, лишившись

родителей, до конца своих дней сильно тосковала, скрывая под уродливым нарядом свою чудную красоту. Она с какою-то странною тревогой бежала от толпы поклонников, преследовавших ее даже в церкви на молитве, и умерла несколько лет спустя после разлуки с Ренаном. А он, прославленный и убеленный сединами, случайно очутившись во время каникул на заброшенном сельском кладбище, где была схоронена его безответная подруга детства, долго с неизъяснимой грустью искал ее могилу…

В 1838 году пятнадцатилетний Эрнест получил высшую награду за успехи в науках. Его способности и прилежание обратили внимание высшего духовенства, и учесть его была решена… Для получения дальнейшего образования его отправили в парижскую семинарию св. Николая. Казалось, он был предназначен к блестящей духовной карьере. Ни он сам, ни его простодушные воспитатели не подозревали сокрытых в нем великих сил, подавленных на время строго религиозным, односторонним воспитанием, но при первом удобном случае прорвавшихся наружу и разбивших все расчеты на тихую благочестивую жизнь вдали от соблазнов мира. А он пережил столько счастливых минут под величественным монастырским сводом, среди чудных средневековых памятников и гробниц, в обществе почивших вечным сном рыцарей и благородных дам, что долго потом не мог отрешиться от этих туманных воспоминаний из мира призраков. Старинный кафедральный собор в Трегье, это чудо изящества и легкости, – безумная попытка воплотить в камне недостижимую мечту, – оставил неизгладимое впечатление в его душе и среди жалкой, пошлой действительности напоминал ему о силе человеческого духа в его творческом стремлении к великим идеалам. Но наступил час испытаний и разлуки с родиной…

«Я помню свой отъезд, как будто бы это было вчера, – говорит Ренан. – Вечерний звон несся от одной приходской церкви к другой, напоминая верующим час обычной молитвы за усопших братьев и распространяя в воздухе неизъяснимое спокойствие, сладкое и грустное, как и та жизнь, которую я оставлял навсегда. На другой день, 5 сентября, я уехал в Париж, а 7-го увидел столько нового и неожиданного для меня, как будто был грубо заброшен из родной Франции на Таити или Тимбукту».

Очевидно, с этого дня в развитии Ренана уже подготовляется поворот, поставивший его несколько лет спустя во главе современного умственного движения.

Глава II

Юность 1838—1845.

Парижская жизнь, которую Ренан впервые увидел лишь издали, из-за монастырских стен, произвела на него потрясающее впечатление.

«Буддийский лама или мусульманский факир, перенесенный в одно мгновение из глухой Азии на шумный бульвар, – говорит Ренан, – не испытал бы такого изумления, какое пришлось мне испытать, внезапно попав в среду, не имевшую ничего общего с миром старых бретонских священников, этих почтенных голов, окончательно одеревеневших или окаменевших и напоминающих колоссы Озириса, которыми я так восхищался впоследствии в Египте, когда они предстали предо мной длинными рядами, столь величественные в своем блаженном покое. Мое прибытие в Париж является точно переходом в другую религию… Моя безыскусственная бретонская вера так же мало подходила к господствующей здесь религиозной системе, как грубое деревенское полотно, имеющее твердость доски, не похоже на ситец. Здесь исповедуют иную веру. Мои старые отцы в своих тяжеловесных церковных одеяниях казались мне магами, постигшими вечную тайну, а то, что я здесь встретил, было религией, разодетой в батист и кружева, надушенным и прикрашенным благочестием, утонченным дамским ханжеством, которое проявляется в разных пустяках, – в ленточках, в букетах и подсвечниках. Это был тяжелый перелом в моей жизни. Молодого бретонца нелегко оторвать от родной почвы. Глубокий нравственный удар, какой мне пришлось испытать в связи с полной переменой в строе всей жизни и в привычках, разразился ужасным припадком тоски по родине. Порядки закрытого заведения были для меня убийственными. Воспоминания о свободной и счастливой жизни на родине, под крылышком любимой матери, поразили меня в самое сердце».

И не один Ренан страдал. На его глазах умер от тоски по родине его лучший школьный товарищ. Многие семинаристы мечтали о самоубийстве, глядя с высоты третьего этажа, где помещалась общая спальня, на камни мостовой. Дошло до того, что юный Эрнест тяжко заболел. Спас его тот же Дюпанлу, ректор семинарии св. Николая, по милости которого Ренан попал в Париж. Этот ловкий деятель церкви, впоследствии добившийся места в палате депутатов и епископской кафедры, случайно прочел письмо бедного измученного семинариста к матери и, должно быть, почуял в отроке, способном так сильно любить и

так хорошо говорить о своих чувствах, глубоко сокрытую непостижимую силу. А ведь Дюпанлу был большой знаток человеческих страстей, пороков и грехов. Даже такого старого хитреца, лжеца и скептика, как знаменитый Талейран, он сумел на смертном одре примирить с церковью и с Богом. Этот изящный аббат, любимец большого света, принадлежал к довольно распространенному в католической Франции типу служителей церкви, которые умеют соединять строгое исполнение религиозного долга с изящными манерами и светской жизнью. Он стремился всех вверенных ему воспитанников, а их у него бывало до 200 человек, переделать по возможности на свой лад, то есть научить их считаться с действительностью и с человеческими слабостями, чтобы тем успешнее достигнуть главной цели – торжества католицизма в распущенном и скептически настроенном обществе. Как вождь на поле битвы, он не обращал при этом особенного внимания на страждущих и погибающих своих новобранцев-воспитанников, прибывших из самых глухих углов Франции, и не церемонился с их личностями. Он захватывал их юные души в свои гибкие, мягкие, но сильные руки и сразу бросал в мутный водоворот житейских впечатлений, но как только неопытная душа, восхищенная новыми, неожиданными чувствами, вздрагивала от страстного желания личного счастья и свободы, он умел как раз вовремя затронуть самые чувствительные струны человеческого сердца и незаметно, но крепко привязать своего воспитанника к церкви, сделать его послушным исполнителем высших предначертаний. По мнению Дюпанлу, Вергилий и классические поэты не могли служить помехой для отцов церкви и апостолов, а потому в семинарии св. Николая религиозное воспитание шло об руку с классическим и литературным. Воспитанников приучали излагать религиозные воззрения в изящной и поэтической форме и знакомили с новейшими литературными и умственными направлениями в таком возрасте, когда они еще находились под непосредственным влиянием духовных отцов. Не только произведения древних классиков, но и Ламартин, и Виктор Гюго не составляли здесь запретного плода. Иногда в классах во время духовных чтений заходила речь о романтических писателях, и преподаватель вмешивался в горячие споры учеников.

Для Ренана, прибывшего из глухой Бретани и не имевшего никакого понятия о парижской жизни, все это было настоящим откровением. Здесь он впервые узнал, какая борьба кипит в наши дни. При всем своем высоконравственном развитии он в умственном отношении был в то время почти ребенком, только что начинающим жить настоящей жизнью. Его школьный

товарищ, аббат Конья, дает следующий портрет Ренана-отрока:

«Бледный и худощавый, он обладал большой головой на хилом теле. Глаза его почти всегда были опущены… Робкий и неуклюжий, молчаливый вследствие постоянной задумчивости, он не принимал никакого участия в играх сверстников и говорил только в тесном кругу друзей. К неприятностям, неизбежно вытекающим из подобного настроения, присоединилась еще тоска по матери, горькие воспоминания о родине и уколы самолюбия, какие ему приходилось испытывать в новой обстановке».

Можно представить, какая тяжелая борьба происходила в сердце юноши, сколько пришлось ему перечувствовать и пережить, прежде чем он нашел исход из терзавших его противоречий. Дух века проникал в его душу со всех сторон, оживляя сокрытые в нем силы. Преподавание в семинарии св. Николая не соответствовало его настроению, но оно было тем влиянием, благодаря которому все в нем ожило и расцвело. Его религиозные верования пострадали, но зато мысль работала, стремясь утолить томительную жажду знания. Во время прогулок и вечернего отдыха юные семинаристы спорили без конца. А по ночам впечатлительный Ренан не мог уснуть. Голова его была переполнена строфами из Ламартина и Гюго; он понял, что значит слава. Неведомые явления поражали его на каждом шагу: талант, известность, блеск великих имен. Он точно выплыл в открытое море, где свирепствовали великие бури и течения века.

«Эти глубокие влияния, – говорит Ренан, – в три года изменили все мое внутреннее существо. Аббат Дюпанлу в полном смысле слова сделал из меня другого человека. В бедном отроке, выросшем в глуши, спеленатом по рукам и ногам, он пробудил открытый и деятельный ум. Без сомнения, были недочеты в этом воспитании, оно оставляло какую-то пустоту. Недоставало в нем положительных знаний, идеи критического исследования истины. Мои христианские верования несколько изменились, однако в то время я не знал еще сомнения».

Оно явилось лишь несколько лет спустя, когда Ренан разочаровался в своих попытках примирить веру с наукой и не нашел в последней прочных устоев для религиозного идеала.

Следуя заведенному порядку, по окончании курса риторики в маленькой семинарии св. Николая Ренан перешел в семинарию Исси, составлявшую загородное подготовительное отделение большой семинарии Сен-Сюльпис. И опять крутая перемена: здесь воспитательные приемы Дюпанлу казались настоящим ребячеством; на первом плане стояло основательное изучение теологии и философии, конечно схоластической. Быть может, в строго церковном и нравственном отношении это изучение

приносило богатые плоды, но на мозг оно влияло удивительным образом. По наблюдениям какого-то французского ученого-антрополога, измерившего значительное количество человеческих черепов, между прочим и у бывших воспитанников семинарии Сен-Сюльпис, оказалось, что последние обладают, сравнительно с учениками высших светских учебных заведений, значительно меньшими размерами головного мозга. Конечно, умственные способности находятся в некоторой зависимости не только от количества, но и от качества мозгового вещества, однако факт, подмеченный антропологом, до некоторой степени поясняет образное выражение Мишле, назвавшего нравственно-педагогический союз сюльписьенов с иезуитами «супружеством смерти с пустотою». В семинарии Сен-Сюльпис все воспитание являлось настоящим культом пустоты и смерти, напоминавшим преклонение перед нирваной у буддистов. Там боялись мыслить из опасения впасть в ошибку. Это приводило подчас к безысходным противоречиям. С одной стороны, задавшись целью воспитывать юношество в строго религиозном духе, почтенные отцы должны были поневоле изучать основательно не только богословие, но и связанные с ним науки и сделаться таким образом настолько учеными, чтобы стоять на высоте нелегкой задачи подготовить будущих деятелей церкви, проповедников и писателей. И действительно, между преподавателями встречались несомненно люди, одаренные крупным талантом и силой воли. Но, с другой стороны, над всеми этими монахами, подобно дамоклову мечу, тяготело известное изречение апостола Павла: «Только тот христианин, кто умер во Христе». В такой смерти при жизни основатель ордена сюльписьенов Олье видел высший идеал правоверного. Но умереть для мира и людей в столице мира Париже – задача нелегкая, убить в себе желания и страсти, сделать сердце неспособным что-либо чувствовать в наше бурное время, когда на каждом шагу жизнь затрагивает самые чувствительные струны человеческой души, – это подвиг еще более тяжкий, чем мученическая смерть за идею. Вот почему большинство наставников Ренана, при всем их благочестии и благородстве стремлений, производили удручающее впечатление людей, взваливших себе на плечи ношу не по силам. Они истощались в жалких попытках извратить человеческую природу и сделать своих воспитанников нравственными уродами. У менее талантливых и увлекающихся наставников, например у аббата Манье и у аббата Госселена, стоявшего во главе семинарии Исси, этот глубокий внутренний разлад сказывался не так резко; они все-таки допускали возможность примирения науки с религиозными догматами. Другие, более ревностные и

проницательные, не колебались объявить беспощадную войну современному просвещению. В этом отношении особенно выделялись Готтофрэ, один из профессоров философии, юный священник поразительной красоты, и профессор физики Пино, грязный, оборванный и умышленно грубый в обращении с учениками. Готтофрэ, казалось хранивший в своем сердце неисчерпаемый источник любви, под влиянием каких-то непонятных причин бежал от мира, сулившего ему столько счастья, все силы свои отдал на служение религиозному идеалу самоотречения и умер в Монреале в 1847 году, ухаживая за больными, а Пино бросил кафедру математики в университете и, преследуемый религиозными видениями, в стенах монастыря искал «смерти при жизни», отрекся от науки, старался загубить свой громадный талант, чтобы вполне осуществить высший идеал аскетизма. Эти наставники совершенно откровенно, с особенным даже злорадством глумились и над человеческим разумом, и над теми науками, которые преподавали.

«Стремление к научным занятиям составляло всегда сущность моей природы, – говорит Ренан. – Пино был бы для меня настоящим руководителем, если бы – по странной извращенности своего ума – не стремился с каким-то бешенством скрыть и извратить лучшие стороны своего гения. Но я его разгадал вопреки его желанию. Еще в Бретани я получил довольно основательное математическое образование. А те знания, которые я вынес из лекций Пино по естественной истории и физиологии, дали мне понятие об основных законах жизни. Я заметил недостаточность так называемой спиритуалистической системы. Декартовские доказательства существования души независимо от тела всегда казались мне очень слабыми. Впрочем, я всегда был идеалистом в общепринятом смысле этого слова. Вечное fièri – развитие и видоизменение без конца – казалось мне основным законом мира. Я понял природу как одно неразрывное целое, в котором нет места для отдельных актов творчества и где все подвержено последовательной эволюции».

Таким образом, Ренан незаметно и постепенно освобождался из-под строгой ферулы своих правоверных наставников. Это уже не был наивный бретонский отрок, для которого слова учителя имели значение безусловного догмата. Мертвая схоластическая философия, преподаваемая в Исси, не могла уже его удовлетворить, и он жадно изучал те отрывки современных философских идей, которые с подобающими опровержениями и комментариями сообщались семинаристам, чтобы заблаговременно подготовить их к борьбе с «лгущей ученостью». Он внимательно прислушивался к рассказам тех товарищей,

которые имели возможность ознакомиться поближе с парижской жизнью. Один передавал вкратце содержание лекций прославленного эклектика Кузена, которые ему приходилось слушать до поступления в семинарию. Другой знакомил с воззрениями неокатоликов, с мечтами таких романтиков веры, как Ламенне, Лакордер и Монталамбер, или с новейшими научными теориями. Все схватывалось на лету, но тем не менее оставляло глубокие следы в душе Ренана. Однажды во время схоластических прений он выказал такую критическую мощь при разборе различных противоречивых доктрин, что Готтофрэ – «святой», как его называет Ренан, – не на шутку испугался, прервал лекцию, а вечером, в интимной беседе, указал своему гениальному ученику на то, как опасно доверяться человеческому разуму и как гибельно влияет современный рационализм на развитие религиозного чувства. В конце концов Готтофрэ разразился резкими упреками против чрезмерного увлечения наукой. «К чему она?! Разве без нее душа человеческая не может быть спасена?! Ты не христианин!» – воскликнул он в заключение, поддавшись фанатическому увлечению. Эти слова до того поразили Ренана, что, выходя из кельи своего «святого» учителя, он едва держался на ногах. Всю ночь он провел, не сомкнув глаз, дрожа от ужаса. Слова: «Ты не христианин!»– подобно раскатам грома звучали в его ушах. Только на другой день, после исповеди, он несколько успокоился. Его духовник Госселен взглянул на это дело с рутинной точки зрения. Он знал по опыту, что бурные юношеские сомнения в вере проходят без следа, как маленькие тучки в ясный день. Он даже запретил Ренану сомневаться в своих религиозных чувствах и преподал благоразумный совет – верить, не мудрствуя лукаво, как верят тысячи и миллионы простых людей. Ренан на время успокоился. Он был еще так молод и не умел спокойно разобраться в своих убеждениях и чувствах. Ведь многие великие люди весь век смиренно преклонялись перед судьбой. Даже такой проницательный философ, как Мальбранш, всю жизнь служил обедни, хотя его миросозерцание не было вполне религиозным. Естественная скромность не позволила Ренану придать решающего значения своим пока еще неясным и непродуманным сомнениям. Со спокойной совестью он продолжал учиться, не подозревая, что наука со временем приведет его к полнейшему разладу с церковью.

По окончании двухлетнего курса философии Ренан поступил на богословское отделение семинарии Сен-Сюльпис. Здесь основательное изучение древнееврейского языка и Библии привело его, так сказать, к первоисточникам христианских

догматов. В юношеские годы, когда большинство увлекается блестящими мечтами и сменой легких впечатлений, он весь отдается науке, как будто ищет в ней спасения от покушений и преследований злобного духа сомнения. Он учится с таким напряжением своих непочатых громадных сил, что его физическая природа не выносит ярма. Рост его преждевременно прекращается, появляются сутуловатость и упорный кашель, но мысль работает без устали. Священные тексты легко укладываются в его памяти.

Богословие преподавалось в семинарии чуть ли не в том же виде, как и шесть веков тому назад. Это было величественное здание, воздвигнутое непреодолимой силой веры в святость древних преданий и напоминающее средневековые храмы с массой всевозможных хитросплетений, тонкостей и крутых подъемов. На вершину такого здания взобраться нелегко. Но трудности не пугают Ренана. Для полного понимания Ветхого и Нового завета в подлинниках необходимо основательное знание древнееврейского языка, и он изучает грамматику у великого ученого Ле-Гира, посещает необязательные специальные курсы по истолкованию наиболее запутанных текстов знаменитого ориенталиста Гарнье, слушает с разрешения наставников во французской коллегии лекции по сирийскому языку у Этьенна Катрмэра. Необходимость подвинуть как можно дальше изучение экзегетики и семитической филологии побуждает его к изучению немецкого языка. Только ознакомившись с Гезениусом, Эвальдом и другими корифеями немецкой науки, впервые он почувствовал веяние новейшего научного гения. Ему казалось, что он вступает в храм, так велико было его благоговение, и не раз ему пришлось пожалеть, что он не родился протестантом, ибо это дало бы ему возможность сделаться философом, не разрывая связи с церковью.

Увлекаясь все более и более наукой, он на время как бы забыл о строгих требованиях католицизма и о великом долге священника – верить в святость своей проповеди. До последних дней пребывания в семинарии он был уверен в своем призвании, и эту глубокую уверенность разделяли с ним его наставники. «Вступайте в наше братство, – сказал заведовавший семинарией Карбон, – здесь ваше место». Он же заставил Ренана принять 150 франков на покупку необходимых книг. Этот чрезвычайно добродушный и хороший священник, конечно, не подозревал, чему послужит наука в руках его скромного на вид, благочестивого, трудолюбивого и кроткого питомца. Очевидно, почтенные духовные отцы Сен-Сюльпис смотрели на него как на своего собрата. Ренан отвечал полной взаимностью на это

дружеское расположение, и после многолетней ожесточенной борьбы с воспитавшей его церковью он говорит о своих наставниках с непритворной любовью и уважением. Некоторых из них, как например Готтофрэ и Ле-Гира, он прямо называет «святыми» и удивляется, как мог последний, при своей громадной учености, не видеть явного противоречия между текстами Священного писания и догматами католицизма и сохранить во всей неприкосновенности свою глубокую веру. Вообще, необходимо заметить, что Ренан обладал удивительным даром любить даже своих врагов по убеждениям и наносить ужасные удары без малейшего признака гнева, а скорее с глубоким сожалением к заблуждениям людей, с которыми он был вынужден бороться. А час неизбежной борьбы и разрыва приближался. Религиозное настроение Ренана за эти последние годы пребывания в семинарии Сен-Сюльпис нисколько не изменилось, но каждый день тем не менее разбивал одно из звеньев тяжелой цепи, привязывавшей его к церкви. Однако чрезмерная работа долго не давала ему времени на всестороннюю оценку ее результатов. Он шел безостановочно вперед, как человек, преследуемый ужасными видениями, пока не почувствовал наконец, что сбился с настоящего пути. И Ренан опять обратился за утешением к своему духовнику, который, как некогда Госселен, постарался еще раз успокоить его чуткую совесть. «Искушения против веры! Не обращайте на них внимания, – убеждал он, – идите все вперед». Для большей убедительности он сослался на письмо св. Франциска де Саль, в котором тот признает искушения в вере неизбежным горем и злом. «Не надо только им поддаваться. Кому не приходилось их испытывать! Надо призвать на помощь все свое терпение, и даже когда дух-искуситель станет стучаться в нашу дверь, не надо откликаться и спрашивать: кто там?»

Под влиянием подобных убеждений Ренан решился принять первый чин посвящения. Оставалось сделать еще шаг, чтобы связать себя на всю жизнь неразрывными узами, так как по учению католической церкви таинство посвящения не может быть уничтожено ни отлучением, ни преступлениями, ни волей принявшего священство. Духовник Ренана горячо убеждал его не поддаваться никаким сомнениям и до конца идти по избранному пути. Требовалась большая сила воли, чтобы при подобных условиях отстоять свою свободу.

«Я был бы вполне счастлив, – 22 марта 1845 года писал Ренан своему приятелю Лияру, – если бы моего душевного спокойствия не нарушали отчаянные мысли. Меня ужасает все возрастающее безверие. Я уже почти решился не принимать в ближайшую

очередь посвящения в помощники дьякона. Это не должно никому казаться странным, так как мой возраст обязывает меня не торопиться с посвящением. Впрочем, какое мне дело до чужих мнений. Необходимо приучиться пренебрегать ими, чтобы быть готовым на все жертвы. Но я переживаю ужасные минуты; особенно эта страстная неделя была для меня мучительна, так как я сильнее почувствовал свой разрыв с обыденной жизнью, и моя тревога усилилась. Я утешаюсь мыслями о судьбе Иисуса, столь прекрасного, чистого и идеального в своих мучениях. Я сохраню к Нему любовь навсегда. Даже если бы мне пришлось покинуть церковь, Он не осудит меня, так как я поступаю по совести, и один Бог знает, чего мне стоит эта жертва! Я уверен, что ты меня поймешь. О мой друг, как человек мало свободен в выборе своей участи!»

Юный семинарист уже предчувствует роковую развязку и с ужасом заглядывает вперед, еще не зная, какой путь ему избрать.

Глава III

Перелом в жизни Ренана и первые шаги его на литературном поприще 1845—1849.

В 1845 году Ренан по обыкновению уехал на лето в Бретань. Воспоминания о светлых мгновениях, пережитых в Трегье, где он когда-то верил и молился от души, всякий раз охватывали его при возвращении на родину, и он с особенной силой чувствовал происшедшие в нем за время разлуки перемены. Прежде, бывало, он с радостью убеждался, что риторика Дюпанлу и первые впечатления парижской жизни нисколько не поколебали его детских верований, но наконец он понял, что дух сомнения исподволь и незаметно разрушил эти верования и что приходится решить, что ему делать и как быть. К счастью, в это время его духовника с ним не было. Никто не мешал ему на досуге обдумать свое положение. Многие и очень многие на месте Ренана даже не заметили бы, что их убеждения находятся в противоречии с предстоящей карьерой. Когда дело идет о хлебе насущном, люди обыкновенно не очень задумываются и рвут куски, не мудрствуя лукаво. Конечно, не все священники безусловно верят в святость своих обетов и молитв и не все без исключения чиновники и граждане верны своей присяге. Кто же в своей жизни ни разу не шел ни на какие сделки с совестью? Но Ренан еще недавно верил так пламенно и беззаветно, что для него малейшее сомнение в том, чему он прежде поклонялся, являлось страшным испытанием. А мог ли он с его способностями и впечатлительной душой избегнуть этих испытаний? И вот наконец настал день, когда раздался голос совести: «Не приступай к алтарю; твоя ряса – ложь. Сними ее скорей». Но, не будучи католиком, он мог, однако, по совести считать себя христианином, так как учение Христа являлось для него кодексом высшей нравственности и человеческого совершенства. Он лишь утратил веру в сверхъестественные силы. В это время он с увлечением читал Гердера, и под влиянием этого свободомыслящего епископа у него возникла мысль о будущих реформах. Он мечтал о христианской церкви как о великой школе человечества, и божественный основатель этой школы не раз в мечтах являлся ему со словами утешения. Он, казалось, говорил бедному юноше: «Оставь Меня, чтобы быть Моим учеником». Ренан был уверен, что, поступая по совести, он исполняет лишь заветы Христа, и эта мысль поддерживала его в борьбе с духовными отцами, которые никак не могли его понять. Эти добряки вообразили, что у их питомца от усиленных занятий, как

говорится, ум за разум зашел. Старых бретонских священников особенно смущал рукописный молитвенник Ренана на древнееврейском языке, по которому он обыкновенно читал псалмы. Они готовы были его заподозрить в желании принять веру Моисея. А мать его, конечно, не могла понять перемены, происшедшей в настроении ее любимого сына, но предчувствовала какую-то беду и тревожилась за его участь. Как это действовало на Ренана, видно из его писем, относящихся к тому времени.

«Я вынужден своими руками, – пишет он, – нанести удар в сердце той, которую я больше всех люблю. Эта сыновняя любовь до сих пор поглощала во мне все другие чувства, к каким я был бы способен и каких Бог не судил мне испытать. С матерью я связан неразрывными узами, возникшими под влиянием тысячи мелочей, которые так дороги для сердца, что словами этого и не выразишь. Как ужасно всем этим пожертвовать. Я ей только намекнул на задуманную поездку в Германию (где ему предлагали частное место учителя), но и этого было достаточно, чтобы сделать ее безутешной. Боже мой, что будет? Ласки матери мучительны для меня, ее материнские чудные мечты, о которых она постоянно говорит, терзают мне сердце. Ах, если бы она могла все знать! Я всем готов пожертвовать для нее, за исключением долга совести!»

Очевидно, долг совести в данном случае, как и всегда, заключался в том, чтобы поступить согласно со своими убеждениями, не останавливаясь перед величайшими жертвами и не стесняясь никакими личными соображениями. По словам Ренана, он не мог принять посвящения после того, как путем основательных изысканий пришел к пониманию, что в Библии далеко не все абсолютно верно, что там встречаются явные противоречия и вообще следы рук человеческих. А между тем католическая церковь требует от слуг своих безусловного смирения перед догматами веры и полного доверия к текстам Священного писания. Очевидно, Ренан не мог подчиниться подобным требованиям, хотя в это время он еще не утратил чувства веры.

«Я люблю бывать в церкви, – писал он своему другу, аббату Конья, – чистое, простое, наивное благочестие трогает меня до глубины души в те светлые мгновения, когда я как будто чувствую веяние Бога. Это – сильные религиозные порывы, от которых я, вероятно, никогда не избавлюсь. Но такое благочестие свойственно человеческой душе и не лишено значения. Оно делает нас благороднее, возвышает над жалкими заботами о материальной пользе. Только там, где кончается полезное, –

начало красоты, бесконечности и божества».

Очевидно, если у него были сомнения, то проистекали они не из его философских взглядов. Может быть, его миросозерцание уже в то время не было вполне религиозным, однако он далек от атеизма. Во всяком случае он не считал возможным, подобно многим пошлякам и недоучкам, отвергать существование Бога *только* на том основании, что мир – не игрушка божественного произвола и все в природе подчинено неизменным законам. Пока Ренан мог носить рясу, не насилуя своей природы и убеждений, не отрекаясь от самого себя, он ее носил и снял лишь тогда, когда бесповоротно убедился, что она его стесняет и не дает ему свободно думать и дышать. Сомнение в подлинности и безусловной истине священных текстов было в данном случае одним из тысячи подводных камней, о которые разбилась его вера. Оно лишь ускорило неизбежную развязку, неизбежную уже потому, что, оставаясь священником, Ренан не мог бы написать ни своей прославленной истории христианства, ни своих этюдов по истории религий. В стенах монастыря он не нашел бы исхода для своих громадных творческих сил. Итак, оставляя семинарию, он безотчетно следовал не только долгу совести, но и голосу своего призвания, так часто заставляющему гениев и героев все бросить, расстаться с дорогими людьми, отречься от богатства и обольщений жизни в погоне за недосягаемой мечтой или смутной надеждой. Об этих сокровенных мечтах гения Ренан тогда еще не говорил ни слова, но, несомненно, они уже зарождались в нем. Как мог он оставаться католическим священником, когда для этого необходимо было отречься от дальнейшего развития, подавив в самом зародыше всякую критическую мысль, приказав ей покорно и навсегда замолчать. Для мыслящих людей легче лишиться зрения и слуха, чем погасить светильник разума и влачить свое существование в непроглядном мраке невежества.

«Католицизм, – писал Ренан 24 августа 1845 года, – удовлетворяет все мои способности, за исключением критического мышления. В будущем я уже не надеюсь ни в чем найти столь полного удовлетворения. Однако необходимо или отречься от католицизма, или ампутировать эту способность. Это тяжелая и ужасная операция, но поверьте, что я не поколебался бы подвергнуться ей, если бы этому не противилась моя совесть или если бы Бог объявил мне, что это ему угодно».

Бог! С какой любовью и глубоким упованием произносил это слово Ренан, преследуемый беспощадным духом сомнения. Он повторяет его без конца. Тон его писем, относящихся к тому времени, напоминает тон удрученного великим горем человека. Он взывает к Предвечному, как утопающий, цепляясь за обломки

великих верований. Однако сомнения его растут, ужасно терять святые идеалы, еще недавно озарявшие все человеческое существование и придававшие ему бесконечное значение.

«Счастливы дети, – пишет он другу, – вся жизнь которых лишь мечта и сон. Кругом я вижу людей простых и чистых, для которых христианской веры достаточно, чтобы чувствовать себя вполне счастливыми и быть добродетельными. Но я заметил, что между такими верующими нет ни одного, который обладал бы даром критики. Как они за это должны благословлять Бога! Ах, если бы они знали, что происходит в моем сердце! Я дрожу при мысли, что мое поведение покажется им лицемерным. Я решил в глубине моей совести не скандализировать этих простаков. Да хранит меня от этого Бог!»

Но очевидно, весь ужас положения Ренана заключается не только в этом внутреннем разладе и столкновении с окружающим миром, а, кроме того, в полном несоответствии убеждений его с духовной карьерой.

«Что я стану делать в практической жизни? – писал он аббату Конья. – С невыразимым ужасом предвижу я конец каникул, – момент, когда я буду вынужден неясное, тревожное состояние моей души проявить в решительных действиях. Это столкновение внутренних и внешних затруднений делает особенно ужасным мое положение. Обыденные заботы наводят на меня тоску и утомление. Да кроме того, я прекрасно понимаю, что в этом отношении я никуда не гожусь, что я наделаю массу глупостей. Я не родился рыцарем индустрии. Люди будут смеяться надо мной и сочтут меня за дурака. Если бы я еще мог быть уверен в себе. А что, если в столкновении с действительностью я утрачу чистоту моего сердца, мои жизненные воззрения и преклонюсь перед практической мудростью! Если бы я даже был в себе уверен, могу ли поручиться за внешний мир, влияющий на нас так фатально? Кто же, зная себя, не боится своей слабости? Поистине, тяжкие испытания посылает мне Бог!»

Действительно, положение было не из легких. Юность Ренана прошла, как чудный сон, в молитвах и мечтах о Боге и великих подвигах. Он был идеалистом по воспитанию и по своей природе. Подобно горному орлу, дышащему свободно на вершинах, где под вечными снегами замирает жизнь, он стремился все выше и выше, в область вечных идеалов, где жизнь земная с ее скоропреходящими радостями кажется такой ничтожной. Он исключительно готовился к духовной карьере, приобрел массу отвлеченных воззрений и совершенно ненужных в практической жизни знаний, не заручившись никакими средствами для борьбы за существование. И вдруг судьба его забросила в водоворот

парижской жизни. На что он мог надеяться? Громадный литературный талант его тогда не проявился еще ни в одной печатной строчке. Основательное знание семитических языков в практическом отношении не много стоило, и только несколько лет спустя Ренан мог им воспользоваться в должной мере. Он даже не имел пока необходимой степени бакалавра. Словом, с практической точки зрения выход из семинарии накануне посвящения по причинам исключительно нравственного, идеального характера представлялся прямо безумным шагом, и слава Ренану, что он решился пренебречь пошлой моралью, жалкими расчетами мелких людишек и всеми личными интересами, чтобы только отстоять свои убеждения, талант и право на самостоятельное развитие. Он вышел победителем из борьбы, которую в юности приходится испытывать большинству образованных людей и в которой позорно гибнут тысячи и миллионы. Но этот перелом в жизни Ренана был особенно жесток уже потому, что его верования были возвышеннее и чище, а сомнения глубже и мучительнее, чем у людей толпы. Вот почему жизнь Ренана особенно поучительна для нас. Благодаря чрезвычайной впечатлительности и силе воображения он точно воплотил в своей личности ту великую борьбу между верой и сомнением, какая кипит в наше тревожное время. Подобно «гиркоцерфу» схоластиков, представляющему чудовищное соединение оленя и козла, Ренан тоже поражает нас двойственностью своего характера, своеобразным сочетанием мечтательности и иронии. По его собственному выражению, в нем жизнерадостный гасконец вечно враждовал с меланхолическим религиозным бретонцем, издеваясь над ним самым непозволительным образом. И в то время как бретонец готов был молиться, его двойник делал смешные обезьяньи гримасы. Под влиянием такого своеобразного темперамента, способного воспринимать с одинаковою силою и легенды угрюмой религиозной Бретани, и впечатления веселой парижской жизни, выработался великий и сложный тип Ренана-писателя, в котором нас особенно поражает сильное развитие критической мысли наряду с необыкновенной чувствительностью. Шальмель-Лякур прекрасно охарактеризовал личность знаменитого писателя в следующих словах: «Он думает, как мужчина, чувствует, как женщина, и поступает, как ребенок». Но, чтобы сделаться общепризнанным вождем своего поколения и ответить на жгучие вопросы своего времени, Ренан должен был решиться на трудный шаг – сбросить иго устаревших воззрений и освободиться от влияния монахов. После долгих колебаний, горьких сожалений и тяжелой борьбы он наконец решился.

«Какие связи порваны в несколько часов! – пишет он Конья по возвращении в Париж. – Я глубоко потрясен; я хотел замедлить эту неизбежную развязку, слишком крутую для моих сил; но судьба толкала меня все вперед, и не было никаких средств удержаться. Вот когда я пережил самые ужасные для меня дни. Представьте полное одиночество – без друга, без советов, без знакомств, без поддержки – среди холодных и безучастных лиц, после того как я оставил мать, мою Бретань, мою золотую жизнь, столько чистых и скромных радостей. Теперь я одинок в этом мире, я чужд ему. О мать! прощай; моя крошечная комната, мои книги, мои тихие радостные занятия, мои прогулки с матерью – все прощай навсегда! Прощайте, чистые и блаженные мгновения, когда я верил в близость Бога; прощай, мое дорогое прошлое, прощайте, верования, навевавшие на меня такую сладкую дремоту. Нет больше для меня чистого блаженства! Нет больше прошлого, а будущее пока еще темно!»

6 октября 1845 года по лестнице семинарии Сен-Сюльпис спускался в последний раз будущий автор «Жизни Иисуса». Он был очень взволнован, точно стыдясь одетой на нем рясы, которую собирался сбросить навсегда; он поспешно прошел через соседнюю площадь, направляясь в гостиницу г-жи Селестины, и занял скромную комнату. Разлука с духовными отцами была, конечно, не особенно приятна; тем не менее добряк Ле-Гир, питавший искреннюю любовь к науке, на прощание снабдил Ренана планом предстоящих ему занятий по восточным языкам, а очаровательный аббат Дюпанлу предложил к его услугам даже свой кошелек и на первых порах, казалось, принимал к сердцу его интересы. Он был вполне уверен, что его воспитанник в конце концов вернется в лоно церкви, и круто изменил к нему свое отношение лишь после того, как эта надежда не сбылась. Очевидно, проницательность на этот раз изменила Дюпанлу; он не понял Ренана и упустил из виду, что гениальные способности не поддаются точному учету. Да и сам прославленный историк христианства не мог предвидеть, что он со временем навлечет на себя негодование воспитавшей и вскормившей его церкви, что его проклянут как великого ересиарха, что его назовут клятвопреступником, святотатцем и отступником. Но мы знаем уже причины, вызвавшие его разрыв с церковью, и этого довольно для полного оправдания Ренана. Не страсть к женщине, не денежные расчеты побудили его выйти из духовного звания, но исключительно стремление к всестороннему развитию. А человек, когда он следует лишь голосу совести и своего призвания, когда он борется за право самостоятельного развития, не может быть виновен уже потому, что, поступая против своих убеждений, он

должен лицемерить.

На первых порах по выходе из семинарии Ренану пришлось ради куска насущного хлеба принять место репетитора в духовном коллеже Станислава, директором которого был в то время небезызвестный, хотя и поверхностный писатель, аббат Гратри. Здесь, впрочем, Ренан пробыл недолго; он не сошелся во взглядах с директором и вскоре убедился, что не стоило менять образцовой семинарии Сен-Сюльпис на другую школу, стоявшую во всех отношениях гораздо ниже. Он чувствовал, что ему необходимо поскорее вырваться из тесного кружка аббатов и монахов, а между тем парижский мир казался ему безводной, холодной пустыней.

Порвав старые связи с церковью, он долго тосковал и скорбел, точно после смерти дорогого человека. С тех пор как он утратил веру в безусловный догмат, все ему казалось ничтожным, жалким, не стоящим внимания, точно он попал в страну пигмеев. Приходилось, уладив кое-как дела, исподволь завязывать новые знакомства и начинать жизнь сызнова. Пока обо всем он судил лишь по книгам и был уверен, что назначение человека не действовать, а только думать и стремиться к познанию вечной истины.

К счастью, ему не пришлось испытать в это время настоящей гнетущей и безвыходной нищеты, которая безжалостно ломает человека, оставляя в сердце столько горечи и ядовитой накипи. Его любимая сестра Генриетта прислала ему из Польши 1200 франков на необходимые расходы по выходе из семинарии. Затем он получил место репетитора в лицее Генриха IV, дававшее ему взамен двухчасовых занятий стол и комнату. Этого было вполне достаточно для Ренана, приученного духовными отцами к евангельской простоте и бедности. Он занимал эту должность в течение трех с половиной лет. Имея много свободного времени, он мог продолжать свои занятия, не заботясь нисколько о завтрашнем дне. В это время общее стремление к знанию сблизило его с восемнадцатилетним Бертло, впоследствии знаменитым ученым. Оба страстно любили науку, но двигались в ней различными путями. Ренан знакомил своего друга с богословием и еврейским языком; тот в свою очередь сообщал товарищу о новых открытиях в области естественных наук. Несмотря на свой юный возраст, Бертло обладал уже широкими философскими взглядами. Почти все свободное время, иногда целые ночи напролет, друзья проводили в совместных занятиях и нескончаемых спорах. Они до некоторой степени как будто предчувствовали великие теории Дарвина, Гельмгольца, Тиндаля и других, вскоре обогатившие науку. Ренан жалел, что посвятил

себя изучению более трудных и запутанных вопросов о значении религий в развитии человечества, – вопросов, решение которых возможно лишь в далеком будущем. Но то громадное влияние, которое он вскоре приобрел и каким не пользовался до сих пор ни один ученый-естествоиспытатель, во всяком случае показало наглядно, что труд историка в наше время тоже не лишен громадного значения в общем развитии знаний. Дружба с Бертло именно помогла Ренану расширить свой умственный кругозор и уяснить общее стремление современной мысли к научному объяснению явлений, то есть к открытию законов неизменной последовательности в развитии человечества и природы. В сердцах обоих еще таились остатки верований в сверхъестественные силы, но нескольких месяцев усиленной работы и горячих споров было достаточно, чтобы возвыситься до более научного и объективного миросозерцания.

В начале 1846 года Ренан сблизился с Эггером, ставшим не только его другом, но и руководителем в трудном деле изучения классиков. Вскоре затем Ренан сошелся с Евгением Бюрнуфом, Опостеном Тьерри и Леклером, которые в значительной степени способствовали развитию его литературного таланта и успеху его первых научных трудов. Особенно Тьерри, по словам Ренана, был настоящим духовным отцом его; пользуясь советами этого великого стилиста, он довел свой слог до совершенства, устранив некоторые неудачные способы выражения. Бюрнуф, знаменитый ориенталист, был его руководителем в области специально филологических изысканий и дал впоследствии самый лучший отзыв о его монографии по истории семитических языков, представленной на премию Вольнея. В лице Виктора Леклера Ренан встретил ученого, своим трудолюбием и преданностью делу напоминавшего старых его учителей из Сен-Сюльпис. Впоследствии в сотрудничестве с Леклером он написал капитальное сочинение в двух объемистых томах под заглавием «История французской литературы в XIV веке». Здесь необходимо заметить, что все дружеские отношения Ренана, особенно по выходе из семинарии, сводились к искреннему обмену мыслями и к возвышенному умственному общению. Лишь в доме супругов Гарнье благодаря обаянию очаровательной хозяйки Ренан испытывал более нежные чувства, наивно восхищаясь женской грацией и красотой, которые еще так недавно казались юному семинаристу лишь греховным дьявольским обольщением. Вообще, несмотря на врожденную застенчивость и недостатки чисто клерикального воспитания, Ренан обладал довольно общительным характером. Он легко сходился с людьми, избегая, однако, сердечных и неразрывных связей, к которым едва ли был

даже способен. Он твердо соблюдал монашеское правило бежать от личных привязанностей, которые, с узкоклерикальной точки зрения, являются как бы нарушением общего христианского завета – любить безразлично всех ближних. Ренану всегда казалось, что исключительная привязанность, заставляющая нас так часто сквозь пальцы смотреть на недостатки любимого человека и преувеличивать его достоинства, не согласна с идеей высшей справедливости. А он, даже сбросив рясу и порвав все внешние связи с католической церковью, в глубине души остался человеком не от мира сего, вечно мечтавшим о неземных, бессмертных идеалах и сохранившим во всей неприкосновенности христианскую нравственность. Мало того, даже по своим мягким, крайне любезным манерам и по умению ладить со всеми, по своему удивительному пренебрежению к житейским практическим интересам и величайшему бескорыстию, по своей внешности, наконец, он всегда казался лишь переодетым католическим священником. И на самом деле он остался навсегда человеком идеи, жрецом неведомого бога, поклонником отвлеченной вечной истины, которой не могла постигнуть до сих пор ни одна религия и не открыли величайшие философы. Как успел подобный мечтатель с неловкими манерами семинариста и с неизвестным пока именем на первых же порах заслужить дружеское расположение таких прославленных ученых, как Бюрнуф или Тьерри? Очевидно, они сразу угадали в нем гениальный ум, оценили его громадные познания, и этого было вполне достаточно для того, чтобы оказать юноше поддержку. Возможно ли что-нибудь подобное у нас, где зависть и клевета преследовали до могилы даже такого гениального поэта, как Пушкин, где такие популярные писатели, как Белинский и Добролюбов, умерли от непосильного труда и нищеты и где людям идеи приходится чуть не всю жизнь бороться с дикой сворой всяких доморощенных самодуров? Ренан родился под светлым небом и под более счастливой звездой. Отыскивая новые пути, он не погиб бесследно, не разбился об острые подводные камни и сберег для дела свои громадные силы. С большим запасом знаний, с выработанным вполне литературным слогом и развитым вкусом, с воззрениями, завоеванными в борьбе за право свободного развития, двадцатичетырехлетний Ренан вступил наконец на литературное поприще почти одновременно в качестве случайного сотрудника журналов «Journal de l'Instruction publique» (с 1847 года) и «La Liberté de penser» (с 1848 года) и автора монографии по сравнительной истории семитических языков.

В 1847 году Ренан закончил в общих чертах свой первый

капитальный ученый труд под заглавием «Всеобщая история семитических языков», за который он получил в следующем году благодаря лестному отзыву Бюрнуфа Вольнеевскую премию. Это было блестящее начало продолжительной, неутомимой и громкой литературной деятельности. На юношу двадцати четырех лет, написавшего солидную специально-научную монографию, которая могла бы сделать честь любому профессору-ориенталисту, все ученые сразу обратили внимание. В это время Ренан уже пережил острый период своих религиозных сомнений и вполне освоился с новым для него положением начинающего независимого писателя.

«Моя судьба меня не беспокоит, – писал он в 1847 году, – мне все равно. Я не примкну ни к одной партии. Если найду единомышленников – прекрасно, в противном случае останусь одиноким. Я – великий эгоист: замкнувшись в себе самом, смеюсь надо всем. Надеюсь, что средства к жизни сумею всегда добыть».

В это время он уже успел получить необходимую ему по чисто практическим соображениям степень бакалавра, а тридцати пяти лет от роду удостоился «первой агрегации» на конкурсном экзамене по философии. Ему предложили кафедру в провинции, но он благоразумно отказался. Он уже предчувствует, что подходящее ему место найдется лишь в столице мира, и работает с величайшей энергией, чтобы завоевать соответственное положение в ученой среде. В сентябре 1848 года в журнале «La Liberté de penser» появилось его исследование «О происхождении человеческой речи», в котором он развитие языка ставит в общую связь с эволюцией природы и картину современной действительности рассматривает как неизбежный результат и верное отражение очень продолжительного исторического прогресса. В 1849 году он временно занял должность преподавателя в Версальском лицее. К этому моменту рамки его литературной деятельности уже расширились. Он активно сотрудничает в нескольких журналах, а именно в «La Liberté de penser» Жюля Симона, «Revue asiatique», «Journal de l'Instruction publique» и других. Впоследствии его имя появляется на страницах таких солидных органов, как «Revue des deux Mondes» (с 1851 года) и «Journal des Débats» (с 1853 года). Ренан с юных лет мечтал о литературной деятельности и никогда не думал, что его сочинения могут иметь какую-либо ценность. Об этом подумали друзья начинающего автора, и, к величайшему его изумлению, в одно прекрасное утро к нему явился один из лучших парижских издателей – Мишель Леви – и предложил ему такое вознаграждение за право издания его сочинений, которое показалось мечтателю баснословно крупным. Однако по

предложению самого издателя оно было впоследствии еще повышено соразмерно с успехом Ренана среди читающей публики. Рассказывая очень забавно о том, как, подписывая договор с Леви, он испытывал сожаление о потраченной гербовой бумаге, Ренан присовокупляет, что этот постоянный его издатель был ему как будто ниспослан по особому декрету Провидения.

У нас нет ни времени, ни особенной надобности входить здесь в подробный, с соблюдением точной хронологии, разбор его отдельных небольших статей, тем более что впоследствии все эти статьи были напечатаны в виде объемистых сборников со следующими заглавиями: «Этюды по истории религий» («Etudes d'histoire religieuse», 1857 год), «Критические и этические опыты» («Essais de morale et de critique», 1859 год), «Современные вопросы» («Questions contemporaines») и «Новые этюды по истории религий». В дальнейшем изложении мы еще вернемся к этим сборникам. В 1848 году Ренан написал, между прочим, и философское сочинение под заглавием «Будущее науки». Этот труд, поражающий нас богатством идей, изложенных, впрочем, без особенной последовательности, не удовлетворил ни автора, ни его друзей, а потому, вероятно, пролежал в портфеле более 40 лет и был издан лишь в 1890 году, когда все написанное Ренаном имело уже громадную ценность.

Мы еще остановимся на этой работе при изложении его общих философских взглядов, а пока отметим лишь, что в ней отчетливо отразилось общее возбужденное настроение умов в середине XIX века и увлечение Ренана наукой, от которой он еще ждал в то время ответа на тревожившие его вопросы. Знание, по его мнению, есть первый символ нарождающейся ныне истинной, естественной религии. Когда мы бескорыстно ищем истину, забывая о мелочах пошлой действительности, не молимся ли мы, хотя и бессознательно, Предвечному? Религия будущего должна явиться тем великим синтезом науки, поэзии и нравственности, к которому стремится человечество. А идеал человека заключается в том, чтобы с возможной полнотой осуществить в своей личной жизни все лучшие общечеловеческие стремления, то есть не только добродетель, но и мудрость, и справедливость, и красоту. Все, что не входит в понятие общечеловеческого идеала, все наши низменные страсти и корыстные желания ничтожны и жалки и, в сущности, обречены на смерть. Но, чтобы не сбиться с настоящего пути, необходимо знать, в чем именно заключается истинное счастье. В науке Ренан видит единственное надежное средство к улучшению человеческой участи и общественного строя, хотя и вступает в полемику с Огюстом Контом, проповедовавшим в общих чертах, как известно, ту же идею. Впоследствии Ренан до

некоторой степени разочаровался и в формальной науке, придавая громадное значение лишь критическому методу и свободе исследования, положенным в ее основу. В конце концов разочаровался Ренан и в благотворном значении Великой французской революции, которую, как известно, в своем «Будущем науки» он восторженно превозносил, утверждая, что истинная история Франции начинается лишь с 1789 года и что место, где была провозглашена известная Декларация прав человека, уподобится со временем Иерусалиму, ибо на поклонение этому священному месту будут стекаться толпы паломников. Эта пламенная юношеская вера Ренана в безграничный прогресс человечества после только что испытанного им крушения его религиозных верований заслуживает, конечно, особенного внимания; только благодаря ей он не пал духом и, продолжая неутомимо работать в течение многих лет, успел создать несомненно крупные научные труды по истории семитических языков и по истории греко-арабской философии в Средние века. Теперь мы и приступим к общему очерку этих работ.

Глава IV

Труды Ренана по семитической филологии, по истолкованию библейских текстов и по истории греко-арабской философии в Средние века. – Женитьба Ренана. 1849—1860.

Вступление Ренана на литературное поприще почти совпало с крушением монархии во Франции и с довольно сильным политическим движением на Западе. Как известно, возбуждение умов в то время было всеобщим. Даже на улицах Берлина толпа бушевала, появились жертвы беспорядков, и будущий основатель Германской Империи Вильгельм I стоял с непокрытой головой на балконе своего дворца перед толпой, хоронившей павших в междоусобной свалке. Но Ренан, по-видимому, не увлекался политической борьбой и безучастно относился к уличным волнениям. Только в его первом философском произведении, как мы уже заметили, сказывается некоторое возбуждение, вызванное, впрочем, не политической борьбой, а восторженным настроением философских умов в то памятное время. Он с увлечением говорит о великом будущем науки и человечества; он, как и все великие умы XIX века, преисполнен веры в безграничное могущество человеческого ума, а того, что делается вокруг, что задевает его на каждом шагу, он почти не замечает. Его глаза обращены вперед и вверх, к мелькающим в туманной дали волшебным призракам и вечным идеалам. Лишь много лет спустя, особенно после франко-прусской войны, злоба дня взяла свое, и Ренан, не переставая работать над своей историей христианства, обнародовал целый ряд блестящих, но парадоксальных публицистических статей. А пока, в течение с лишком десяти лет по выходе из семинарии Сен-Сюльпис, он почти исключительно занят специально-научными изысканиями[1].

Конечно, все эти труды, представляющие несомненно крупный вклад в науку и написанные Ренаном, за небольшими лишь исключениями, до 1860 года, то есть в молодости, по своему литературному значению и влиянию уступают его последующим историческим, публицистическим и философским произведениям, не имеющим почти никакой научной ценности. В этом отношении умственное развитие Ренана представляется нам чрезвычайно своеобразным. Он нам является то беззаветно верующим семинаристом, то преданным науке тружеником, то, наконец, философом и мечтателем. С годами его воображение и творческие силы не уменьшаются, как вообще бывает, а растут, и постепенно красноречивый ученый превращается в поэта.

Некоторые страницы его автобиографии, написанной уже в глубокой старости, никогда не будут забыты, – столько в них поэзии и живого, искреннего чувства. Чтобы понять Ренана, необходимо вообще выяснить его значение как ученого, как публициста, как философа и даже как беллетриста, каким он является в различные моменты своей деятельности. Прежде всего нам следует дать сжатый очерк его более значительных специально-научных произведений. Конечно, по своему содержанию они не представляют особенного интереса для большинства читателей и почти не поддаются популярному изложению, но все-таки необходимо их коснуться, чтобы как следует оценить дальнейшую литературную деятельность Ренана и постигнуть сущность его миросозерцания.

В своей «Общей истории и сравнительной системе семитических языков» («Histoire générale et systèmes comparés des langues sémitiques»), как она озаглавлена в последующих, значительно переработанных и дополненных изданиях, Ренан задался целью осуществить в области семитической филологии то, что Бопп уже сделал для индоевропейских языков, то есть дать законченную сравнительную систему семитических языков, которая наглядно показала бы, каким образом семиты постепенно достигли высокого искусства выражать свои мысли. Насколько Ренан справился со своей задачей, показывает уже то, что означенное его сочинение выдержало несколько изданий и пользуется большою известностью даже среди германских ориенталистов. Оно отличается исключительно теоретическим характером. В превосходном введении автор изложил свой общий взгляд на историю семитических языков и указал основные принципы сравнительной их грамматики. По мнению Ренана, все вообще языки, будучи непосредственным продуктом человеческого духа, непрерывно изменяются по мере его развития, и поэтому истинная теория языков есть, в сущности, их история. Грамматическое изложение с необходимостью должно основываться на данных, почерпнутых из истории литературы. Невозможно, например, создать систему еврейского языка, не изучив в строго хронологическом порядке древнееврейских библейских текстов, дошедших до нас. Немыслимо понять и странные особенности арабского языка, не зная условий, при которых вырабатывались различные наречия мусульманского мира и его литературный слог. Исходя из этого принципа, научная теория всякой данной группы языков слагается из двух частей: 1) из внешней истории всех наречий исследуемого языка, их роли во времени и пространстве, их географии и хронологии, наконец, из основательного уразумения порядка и характера всех

письменных памятников, нам известных, и 2) из *внутренней* истории их с момента возникновения и сравнительной грамматики, рассматриваемой не в смысле неизменного, мертвого закона, а как результат непрерывных изменений в органической связи с жизнью и развитием данного народа. Поэтому труд Ренана распределяется на две части: историческую и теоретическую. Благодаря тому что семитические языки отличаются гораздо меньшей подвижностью и способностью к различным заимствованиям, чем, например, индоевропейские, установление законченной системы их представлялось сравнительно более легким делом. Но тем не менее по богатству материала и по ценности сделанных Ренаном обобщений его «История семитических языков» является крупным научным трудом. Первая глава ее посвящена общей характеристике семитических языков и народов. По мнению автора, «провиденциальное» значение семитов в умственном развитии человечества заключается почти исключительно в том, что они дали миру великую, могущественную религиозную идею, или, вернее, цикл идей, влияние которых до сих пор, по прошествии многих тысячелетий, не вполне еще исчерпано. Но зато громадного политического значения семитические народы никогда не имели, не исключая даже древних финикиян, прославившихся задолго до нашей эры своими обширными торговыми сношениями. Завоевательные движения арабов, воодушевленных всецело религиозной идеей, тоже в конце концов не принесли никаких прочных политических результатов именно потому, что для этого необходимо одновременное взаимодействие целого ряда прогрессивных факторов, а у семитов вообще не было ни развитой мифологии, как утверждает Ренан вопреки Штраусу, ни науки в современном смысле, ни философии, ибо так называемая арабская философия была, в сущности, греческого происхождения. Сообразно исключительно религиозному настроению семитических народов, язык их представляется особенно приспособленным для выражения поэтических и сверхчувственных понятий. Это язык пророков и поэтов, но не политических ораторов и не ученых, поэтому он несколько однообразен, беден и недостаточно подвижен. Он металличен, по выражению Ренана. Далее автор переходит к обстоятельному исследованию движений этих народов в глубокой древности и устанавливает три периода в развитии семитических языков и родственных с ними второстепенных многочисленных наречий, изученных им что называется до тонкости. Первая эпоха развития – период древнееврейский; вторая – период арамейский и третья – период арабский. В заключение Ренан указывает общие

законы развития этих языков, которое, по его мнению, является уже вполне законченным. Сравнивая арийцев, то есть, в сущности, европейцев, и семитов в умственном и нравственном отношениях, автор приходит к окончательному выводу, что первые по широте и богатству развития стоят все-таки выше вторых, хотя обе эти расы, без сомнения, должны быть отнесены к самому высокому типу, до какого пока успел возвыситься человек. По мнению Ренана, все существовавшие до сих пор разновидности человеческих типов распадаются на три естественные группы: 1) низшие расы, например австралийцы, папуасы, остяки, айны и т. п.; 2) расы культурные только в материальном отношении: китайцы (японцы), кушиты, хамиты (например древние египтяне); 3) расы культурные не только в материальном, но и в умственном отношении: арийцы и семиты. Итак, в первом же своем научном труде Ренан выступает ревностным приверженцем господствующей ныне в науке теории всеобщего развития.

В 1859 году Ренан по поручению Академии надписей отправился с научной целью в Италию, где успел собрать значительные материалы по вопросу о влиянии греко-арабской философии на итальянских схоластиков и на систему философского преподавания в Падуанском университете до XVII века. По-видимому, молодой ученый до такой степени был увлечен своими специальными изысканиями, что не мог как следует наслаждаться новыми для него впечатлениями от этой прекрасной страны, ее роскошной природой, чудными памятниками средневековой архитектуры и великолепными картинными галереями. По крайней мере об этом нет ни слова в его юношеских воспоминаниях, тогда как о поездке его в 1875 году на конгресс в Палермо имеется довольно подробный отчет, напечатанный в сборнике под заглавием «Mélanges d'histoire et de voyages». В 1851 году, по возвращении в Париж, он был назначен управляющим Национальной библиотеки по отделу рукописей и, достигнув наконец некоторой материальной обеспеченности, поселился в скромной квартире на улице Val-de-Grâce со своей старшей сестрой Генриеттой. Кажется, можно вполне верить Ренану, что эта явившаяся для него светлым путеводным маяком в самые трудные и опасные минуты жизни женщина отличалась действительно необыкновенным умом. Она очень успешно подготовила когда-то своего маленького брата в духовный коллеж, затем, после того как он убедился в необходимости оставить духовную карьеру, она горячо поддержала его и добрым словом, и денежной помощью, хотя, занимая в то время скромное место гувернантки где-то в Польше, не могла сделать особенно крупных сбережений. Кстати здесь заметим, что и со старшим

братом своим Алленом, человеком очень способным и энергичным, Ренан был связан до последних его дней сердечной братской дружбой. Значительный литературный успех, вскоре выпавший на долю Ренана, принес ему, кроме славы и некоторого достатка, еще возможность приютить под своей кровлей не только любимую сестру, но и престарелую больную мать, которая в конце концов примирилась с отказом сына от духовной карьеры, убедившись, что его нравственная личность при этом нисколько не пострадала и что он, сбросив рясу, остался, в сущности, служителем своего Бога. Конечно, она не могла вполне оценить воззрений своего сына, но тем не менее по-своему, как мать, прекрасно его понимала. В уединенной комнате, куда лишь изредка долетал глухой шум парижского движения и сквозь полузавешенное окно едва проникал мерцающий отблеск уличных фонарей, старушка рассказывала по вечерам великому писателю чудные бретонские предания и делилась с ним своими воспоминаниями о давно схороненных друзьях. Несмотря на тяжкие страдания, до последних дней она сохранила свою врожденную живость и веселость. За несколько часов до смерти она еще шутила.

В 1852 году вышло капитальное историческое исследование Ренана под заглавием «Аверроэс и аверроизм», имевшее крупный и вполне заслуженный успех. Оно посвящено малоисследованному и очень трудному вопросу о судьбах греко-арабской философии с момента возникновения ее в XII веке. В этом случае Ренану пришлось потратить немало времени на розыски неизданных документов, хранящихся в итальянских и отчасти парижских архивах и библиотеках. Кроме работ Мунка и Горо, посвященных этому же предмету, у него не было почти никаких иных пособий. Но знание арабского языка и ценные указания таких известных ученых, как проф. Кузен и Виктор Леклер, в значительной степени способствовали успеху его труда, основанного почти сплошь на совершенно новых и самостоятельных изысканиях. В это время Ренан особенно увлекался историческим методом, которому он придавал вообще громадное значение в развитии науки. В предисловии к своему труду он говорит, что «история есть необходимая форма познания всего, что подчинено всеобщему закону наследственности и развития». А что же так или иначе этому закону не подчинено? С этой точки зрения философия сводится, в сущности, к истории господствовавших в различные эпохи философских учений. Средние века являются моментом наибольшего упадка науки и рационализма, а печальная участь греко-арабской философии в XII веке особенно заинтересовала Ренана уже потому, что это был

один из самых ранних и крупных эпизодов вековой борьбы духа исследования со всеобщим суеверием и невежеством, – борьбы, которая еще не завершилась и в наши дни… Как известно, аверроизм явился, в сущности, смелой попыткой перенести в средневековый мир древнегреческую философию. Основатель этой школы, живший в XII веке арабский ученый Ибн Рошд, известный больше под именем Аверроэса (родился в 1126, умер в 1198 году), был приверженцем Галена и последователем Аристотеля, к учению которого он составил отличные комментарии. В своей полемике с Аль-Газали он старается примирить свое философское миросозерцание с Кораном. Напрасная надежда! XII век не мог осуществить великой мечты всех благороднейших умов и примирить разум и веру. Недаром следы застарелой вражды еще и поныне существуют. Вскоре под влиянием народного фанатизма греко-арабская философия бесследно исчезает из всех мусульманских школ. Ислам не мог ужиться даже с тенью науки, которая казалась столь чуждой и ненужной вообще мечтательным необузданным арабам.

Аверроэс являет нам тип мудреца, непонятого темной фанатической толпой и великого в своем ужасном, безысходном одиночестве.

А между тем арабская философия в XII веке стояла гораздо выше европейской. Греческая наука играла в Средние века такую же роль у арабов и персов-сасанидов, какую современная наука играет на Востоке; она могла бы повлиять на людей и учреждения того времени, если бы не встретила непреодолимого препятствия в исламе. По мнению Ренана, это бесследное исчезновение целой великой философской системы является чуть ли не единственным примером в истории. Средневековая католическая церковь тоже враждебно относилась к науке и ученым, беспощадно сжигая на кострах одних великих мыслителей, как, например, Джордано Бруно, и угрожая смертью другим, например, Галилею, но эта нетерпимость коренилась лишь в сердцах фанатиков, а не в духе христианства, и оттого среди европейских народов истинное просвещение, хотя и медленно и с большим трудом, все же шло вперед. Ренан подробно выясняет, каким образом аверроизм проник в средневековые школы, и указывает на выдающуюся роль в этом отношении ученого-талмудиста Моисея Маймонида, пользовавшегося громадным авторитетом в средневековой литературе. Особые отделы книги посвящены обстоятельному исследованию судеб аверроизма среди евреев, среди схоластиков в Парижском и Падуанском университетах, указаны первые переводы Аверроэса и значение для его учения падуанской философской школы, свято хранившей традиции Аристотеля и

схоластические принципы до середины XVII века. Кроме того, не оставлено без внимания и влияние аверроизма на средневековое искусство и на медицину, в которой образовалась благодаря Аверроэсу даже самостоятельная школа с Пьетро д'Абано во главе. Наконец, очень подробно разобраны и возражения против аввероизма, сделанные школой платоников и гуманистами, особенно известным Пико делла Мирандола.

Такое значительное историческое исследование, основанное на самостоятельных данных и документах, отчасти впервые изданных в приложении к книге Ренана, упрочило за ним славу первоклассного ученого. В 1856 году он был принят в Академию надписей, на место его покойного друга Огюстена Тьерри, и вскоре затем женился на дочери известного живописца Анри Шеффера, племяннице знаменитого Ари Шеффера. Знакомством с этой прекрасной семьей Ренан обязан своему другу Тьерри. Брак Ренана можно назвать исключительно удачным и даже счастливым. Г-жа Ренан не явилась редким исключением среди жен великих мыслителей и ученых и не оказала особенного влияния на философскую и литературную деятельность своего мужа, но зато она стала для него на всю жизнь преданной подругой и принесла ему домашнее счастье и довольство, столь необходимое для того, чтобы с успехом работать. Существование Ренана было скрашено и озарено не только славой, но и любовью всех самых близких людей: любовью матери, сестры, жены и дочери. «Я воспитался под влиянием женщин и священников, – пишет Ренан, – в этом разгадка моих достоинств и недостатков». И в этом, вероятно, вся тайна счастья, выпавшего на его долю. Благодаря воспитанию он избегнул несчастья, преследующего всех исключительных людей, – обособленности и одиночества.

В 1858 году появился прекрасный перевод «Книги Иова» с очень подробными критическими замечаниями Ренана относительно эпохи возникновения, плана и характера этой поэмы. Два года спустя напечатано подобное же издание «Песни Песней», и наконец в 1881 году издан «Екклесиаст». Перевод этих книг не отличается, по словам самого Ренана, особенной точностью, но зато замечателен своими литературными достоинствами. Общий характер подлинников передан с удивительным искусством, слог с внешней стороны не оставляет желать ничего лучшего.

Но комментарии Ренана, особенно относительно эпохи возникновения этих произведений, вызвали сильное неудовольствие в клерикальном лагере. В них высказаны взгляды на происхождение некоторых отделов Библии, послужившие для Ренана ближайшим поводом к оставлению семинарии и

несогласные с учением католической церкви, не допускающей ни малейших сомнений относительно священного происхождения библейских текстов. По изысканиям Ренана оказывается, что «Книга Иова», «Песнь Песней» и особенно «Екклесиаст» в свое время возбуждали даже среди правоверных евреев некоторые сомнения относительно их священного происхождения. Все произведения, входящие в состав Библии, были переведены на греческий язык во II и III столетиях до Р. Хр., за исключением «Екклесиаста», о котором мир узнал лишь в I веке нашей эры, когда глава одной из еврейских школ, Акиба или Аквила, перевел это замечательное произведение. Скептический и непринужденный тон его настолько не соответствовал мрачному религиозному настроению еврейских ученых того времени, что лишь после долгих споров и совещаний они решились наконец внести эту поэму в число священных, вдохновенных свыше книг, руководствуясь в этом случае символическим истолкованием нескольких религиозных ее строф. Отцы церкви в III веке присоединились к этому мнению. В то время доискивались таинственного смысла в сочинениях, затрагивающих философские и религиозные вопросы, задумывались над своеобразным сочетанием букв и слов, не довольствуясь прямым смыслом, и доходили таким образом до выводов, о которых автору и во сне не грезилось. По общепринятому мнению, «Екклесиаст» является произведением Соломона, третьего по порядку израильского царя, жившего приблизительно за тысячу лет до Р. Хр. Однако автор не назвал себя, заменив свое имя инициалами К.Г.Л.Т., от прибавления к которым соответственных гласных получается еврейское слово Ка-Ге-Ле-Т, то есть *проповедник*. «Екклесиаст» есть лишь греческий перевод этого слова. В нем усмотрели намек на Соломона, потому что согласно преданию этот царь, подобно многим проповедникам, был одарен необыкновенной мудростью. А в довершение этого сходства с Соломоном неизвестный автор изобразил себя могущественным властелином, большим эпикурейцем, покровителем искусств и любителем вина, женщин и всех благ земных. Но как всегда бывает с подобными людьми, он в то же время и большой скептик, весь жизненный опыт которого заключен в его известных исторических словах: «Суета сует, и все суета». Дружба, любовь, власть, богатство, добродетель, мудрость, общество, цари, народы, судьи – все это изменчиво, как сон, и все в конце концов приносит лишь страдание и разочарование. Прогресса нет, по мнению Кагелета. Мир – лишь последовательность явлений, несущихся в безумной круговой пляске и потому вечно возвращающихся к своему источнику. От будущего ждать нечего:

оно бесследно сольется с настоящим и минувшим. К чему попытки улучшений, когда по своей природе человек так немощен, ограничен и несправедлив, а зло, присущее всему живущему, как сорная трава заглушает все благие всходы. Конечно, существование Бога несомненно, Он не устает в своем бесконечном творчестве, но Его цели непостижимы. Необходимо преклоняться перед этим всемогущим существом, но было бы большой ошибкой предполагать, что Он хоть сколько-нибудь интересуется человеческой судьбой и что мы будем в состоянии когда-нибудь проникнуть в его намерения. Какая дерзость: тайну бытия определять двумя, тремя словами, стремиться голубое небо заключить в кухонный горшок и судьбе предписывать законы!.. Таково в общих чертах содержание книги Кагелета.

Ренан задается вопросом, насколько вероятно общепринятое мнение, что это произведение, насквозь проникнутое скептицизмом и отчаянием, принадлежит царю Соломону, то есть написано в эпоху сильного подъема древнееврейского религиозного духа. Возможно ли допустить, чтобы личность автора до такой степени обособилась от своего народа и своей эпохи? По мнению Ренана, подобный вопрос с научной точки зрения может быть решен только отрицательно. Но вслед за тем путем очень остроумных сопоставлений и соображений он приходит к еще более невероятному выводу, что «Кагелет» есть произведение какого-то еврея – эпикурейца или саддукея, – жившего в I веке до Р. Хр., то есть в разгар религиозных страстей и смутных ожиданий грядущего искупления мира и пришествия Мессии. Правда, в то время еврейская аристократия, то есть большинство саддукеев, уже усвоила древнеэллинские воззрения и прониклась скептицизмом, но почему же в таком случае невозможно допустить, хотя бы в виде исключения, существование одного философа-скептика и в эпоху Соломона? Дело в том, что при отсутствии положительных данных, удаляясь все глубже и глубже в область фантастических предположений и догадок, нетрудно сбиться окончательно с пути. Ренан во Франции в свое время явился чуть ли не единственным ученым – представителем экзегетики; обладая поистине громадной эрудицией, он шел самостоятельным путем и в критике библейских текстов «Книги Иова», «Песни Песней», «Екклесиаста» разошелся с традиционными воззрениями. Насколько он был прав? – это вопрос, не разрешимый в сжатом популярном очерке. Но общее направление его научно-литературной деятельности не может возбуждать никаких сомнений. Очевидно, оно заключается прежде всего в критическом исследовании начал господствующей ныне религиозной системы. Подобное исследование имеет

громадное значение уже потому, что оно открывает, выясняет и сглаживает те ужасные противоречия между разумом и верой, в которых заключается источник величайших страданий для всякого мыслящего и жаждущего истины человека. Ренан несомненно был таким человеком, познавшим всю сладость веры и всю горечь религиозных сомнений и разочарований. Вот почему синтез религии, науки и поэзии является для него высшим идеалом человеческого развития, о котором он говорит с таким увлечением в своем первом философском произведении. Стремясь воплотить свою юношескую мечту, он очевидно не мог довольствоваться специальными экзегетическими исследованиями и вскоре приступил к созданию своей «Истории первых веков христианства», являющейся, в сущности, смелой попыткой приблизить тот синтез науки, веры и поэзии, какой, по мнению Ренана, должна осуществить религия будущего.

К этому второму этапу в литературной деятельности великого писателя мы теперь и переходим.

Глава V

Путешествие на Восток. – Смерть Генриетты. – Возвращение в Париж. – Вступительная лекция в Collège de France. – Поездка в Афины. – Труды Ренана по истории религий.

В мае 1860 года Ренан благодаря Сент-Бёву, ладившему с правительством Наполеона III, был командирован на Восток для исследования памятников древнефиникийской цивилизации. Деятельность Ренана по исполнению возложенного на него поручения подробно описана в обширном его труде под заглавием «Миссия в Финикию» (880 стр. in 4°, с особыми приложениями в виде таблиц). По странному стечению обстоятельств почти в тот же день, когда Ренан получил от Наполеона III приказ об этой командировке, в Ливане вспыхнули беспорядки и произошли убийства, вынудившие французское правительство послать в Сирию значительный отряд. Благодаря этому Ренан мог воспользоваться содействием французских солдат для необходимых раскопок. Не взяв с собою помощников из Франции, он уже по прибытии на место встретил прекрасного сотрудника в лице французского врача Гайлярдо, прожившего в Сирии более 26 лет и успевшего вполне ознакомиться с местными условиями. В первых числах октября 1860 года Ренан прибыл в Бейрут и, не теряя времени, с целью ознакомления в общих чертах с характером страны и с условиями предстоящей работы совершил две предварительные поездки от Бейрута до Сайды (древн. Сидон) и Гебеля (древн. Библос). Затем в течение года великий ученый неутомимо работал, руководя значительными раскопками в намеченных пунктах, знакомясь во время постоянных разъездов с нравами обитателей и видами страны, которую он впоследствии так художественно изобразил в своих трудах по истории христианства и еврейского народа.

Исследование памятников древнефиникийской цивилизации во всех отношениях являлось нелегкой задачей. Решить ее вполне Ренан и не надеялся; он задался целью пока лишь доказать, что финикийская археология возможна, и дать руководящую нить для будущих работ. Благодаря исключительно неблагоприятным историческим и географическим условиям следы древнефиникийской цивилизации были почти совершенно утрачены во время тысячелетней беспощадной борьбы разных народностей за обладание этой некогда процветавшей, а ныне обездоленной и пустынной страной. Семиты, населявшие ее с незапамятных времен, вообще не любят и не ценят древних памятников. По словам Ренана, при виде изваяний, картин или

барельефов у араба является прежде всего желание уничтожить их или спрятать куда-нибудь подальше. В Триполи, например, ученый путешественник нашел прекрасно сохранившийся древний саркофаг, служивший вместо водоема, причем казовая[2] сторона этого памятника, богато изукрашенная резьбой, по приказанию властей была прислонена к глухой каменной стене. Несмотря, однако, на подобные неблагоприятные условия, Ренан успел, особенно в окрестностях Тира и Сидона, открыть и собрать массу очень ценных памятников, а именно древних украшений, монет, надписей, саркофагов, сосудов, орудий, статуэток, барельефов, и сделать много снимков и чертежей. Все это хранится ныне в Лувре. Путем самых тщательных изысканий Ренан пришел к очень важным научным выводам относительно характера и эпохи древнефиникийской цивилизации, которая, в некоторых отношениях не уступая древнегреческой, отличалась от последней сравнительно очень слабым развитием идеи красоты. В древнефиникийских памятниках замечается, например, полное отсутствие колонн, придающих такую несравненную прелесть древнегреческим храмам и театрам. Финикияне, впрочем, не обладали таким великолепным материалом, как пентеликский мрамор, и отчасти поэтому им даже впоследствии не удавались подражания древнегреческому стилю.

На основании собранного археологического материала Ренан, вообще не отрицая факта преемственности древнегреческой культуры, возникшей в силу заимствований с Востока, настаивает на самостоятельности древнегреческого искусства и философии. В этом смысле Греция стоит особняком. Она впервые открыла истинный идеал красоты, она дала человечеству понятия истинного и прекрасного точно так же, как христианство принесло идею добра. По мнению Ренана, напротив, финикийское искусство носило по преимуществу подражательный характер. В самой глубокой древности страна Ханаан была населена хамитами. Приблизительно за 3000 лет до нашей эры в Финикии водворилась раса, аналогичная той, которая занимала территорию Египта и говорила на языке, близком к коптскому. В эту эпоху заимствования очевидно шли с той стороны, откуда пришли завоеватели. Затем, около 2000 года до Р.Хр., Финикия сделалась добычей бродячих семитов, и в ней получил преобладание терашитский, или еврейский язык. Около 400 года до Р.Хр. роли совершенно переменились. Финикия была наводнена продуктами древнегреческой и особенно родосской культур. Древний Сидон получал из Родоса все промышленные изделия и произведения искусства. Конечно, при таких условиях

не может быть уже речи об исключительном воздействии древнефиникийской цивилизации на древнегреческую… Таковы в общих чертах результаты «финикийской миссии».

Часть осени 1861 года Ренан провел в хлопотах по отправке во Францию своих громадных коллекций. Наиболее громоздкие предметы были уже погружены на суда. Любимая сестра Ренана Генриетта, сопровождавшая его в этом трудном путешествии несмотря на расстроенное здоровье и большой упадок сил, не захотела покинуть брата на чужбине. Наконец задуманное крупное дело казалось завершенным, оставалось лишь назначить день отъезда, как вдруг 20 сентября в прибрежном селении Амшит ужасный приступ лихорадки сразил Ренана. Одновременно заболела его сестра. Когда на другие сутки он пришел в себя, то не увидел больше Генриетты: она скончалась. Мы уже знаем, какую громадную роль она играла в его жизни. Ее смерть наложила глубокий отпечаток скорби на все последующие его воспоминания об этом времени. Памяти Генриетты он посвятил особое предисловие к самому прославленному своему сочинению, сверкающему ослепительными красками юга, но безжизненному, как и природа Палестины. Это предисловие и небольшой некролог под заглавием «На память тем, кто знал ее», изданный только для друзей в количестве ста экземпляров, по своим литературным достоинствам, быть может, выше самых блестящих произведений Ренана. Они преисполнены какой-то непонятной прелести и гармонии.

Весть о смерти Генриетты сильно поразила и г-жу Ренан; она поспешила к мужу с сыном Ари, но Ренан, несколько оправившись от своей болезни и глубокого нравственного потрясения, уже возвращался на родину. Вскоре по прибытии в Париж он получил орден Почетного легиона, а в феврале следующего года состоялась вступительная лекция Ренана в Collège de France, где он был назначен профессором по кафедре еврейского, халдейского и сирийского языков на место своего покойного учителя, заслуженного ученого Катрмэра. Это назначение глубоко встревожило клерикалов. Ренан уже был тогда известен как смелый истолкователь библейских текстов и ученый исследователь, не стесняющийся узкими практическими соображениями. На его первую лекцию, посвященную вопросу о роли семитических народов в истории цивилизации, собралась громадная толпа, переполнившая не только аудиторию, но и коридоры университетского здания. Ренан ограничился лишь общими соображениями и не произнес ни одного слова, которое могло бы оскорбить верующих. По его мнению, семитические народы не внесли ничего самобытного ни в науку, ни в политику,

ни в искусство, ни в философию. Но зато они впервые возвысились до великой идеи выразить каждый членораздельный звук особым знаком и догадались свести количество этих знаков до небольшого числа (22). Фонетизм, собственно, и послужил прочным основанием для развития письменности, а вместе с тем и для дальнейшего прогресса в области литературы. Но в другом отношении заслуга семитов еще значительнее: они дали человечеству религию, которая в дальнейшем своем развитии среди индоевропейских народов стала совершеннейшим идеалом добра, красоты, истины и справедливости. Ренан назвал Христа божественным основателем общечеловеческой «религии духа», – «религии, доступной всем расам, стоящей выше всяких каст, религии вечной и безусловной».

Несмотря на сдержанность и такт лектора, в клерикальном лагере поднялся невообразимый гвалт; была произведена возмутительная демонстрация. Ренану пришлось оставить кафедру. В то время министерством народного просвещения управлял свободомыслящий Дюрюи, но он не устоял под давлением влиятельных общественных классов. Сначала чтения Ренана были лишь временно приостановлены, но после обнародования «Жизни Иисуса» в 1863 году у его врагов оказались уже формальные доводы для обвинения ученого в безверии и нечестии: он отвергал божественную природу Христа и вообще всякое проявление сверхъестественной силы в его жизни, подвигах и чудесах, пытаясь все это свести к влиянию общих исторических причин. Даже порочное правительство Наполеона III сочло нужным выказать свое негодование: после многих проволочек в 1864 году Ренана официально лишили кафедры, предложив взамен другое место, вроде синекуры, от которого он, конечно, отказался, объявив, что ему не деньги нужны.

Протест Ренана против такого грубого ограничения свободы научного исследования и критики, изложенный в его брошюре под заглавием «Кафедра еврейского языка в Collège de France» (изд. в 1862 году), нисколько не повлиял на его преследователей, хотя они должны были понять, что нельзя такого человека, как Ренан, обвинять в безверии и нечестии.

«Чем более я живу, – говорит он между прочим в этой брошюре, – тем сильнее привлекает меня великая мировая тайна, которая навсегда сохранит свой глубокий смысл и свою чарующую новизну. Мы окружены со всех сторон бесконечностью… Бог открывается нам через наше сердце… Это сознание наших таинственных отношений с бесконечным, глубоко запечатленное в каждом человеке, и есть источник всего

доброго, всякой любви и всякой радости. Религия вечна. В тот день, когда она исчезнет, зачахнет и сердце человечества».

Но, конечно, развращенная наполеоновская Франция была далека от понимания подобных идеальных воззрений, и лишь в 1870 году правительство национальной обороны возвратило кафедру Ренану. С тех пор он не прекращал своих лекций до конца жизни, постоянно привлекая многочисленных слушателей не только блеском своего великого имени, но и благородной простотой изложения. Даром слова он обладал не в меньшей степени, чем литературным слогом. Своею искренностью он буквально очаровывал не только читателей, но и слушателей.

В 1865 году Ренан посетил Афины. При виде Акрополя он испытал такое сильное впечатление, в сравнении с которым все прошлое показалось ему бледным и ничтожным. И странно, только здесь, по его словам, он впервые почувствовал всю силу дремлющих в глубине души воспоминаний и оглянулся назад. До сих пор ему как-то некогда было ни задумываться над своим прошлым, ни наслаждаться жизнью. Всю молодость он провел, как средневековый ученый, затворником, в стенах монастыря, за книгой. Потом настало время тяжких испытаний, упорной борьбы и освобождения, время неутомимой научной деятельности и дружеского общения с такими знаменитыми людьми, как Бюрнуф, Кузен и Тьерри. Вскоре имя Ренана стало тоже знаменитым, а слава часто заставляет забыть о тихом прошлом… Поездка в Сирию и Палестину с научной целью еще больше отвлекла его от юношеских воспоминаний. В святой стране великих преданий и чудес он испытал столько новых впечатлений! Видения из божественного мира охватили его с такою силой, что он на время забыл все злобы дня. Скитаясь по Палестине, он как будто снова пережил те чудные евангельские рассказы, которыми так увлекался в юношеские годы. По целым часам он мечтал у подножия той горы, откуда, по преданию, Мессия в первый раз явился избранному народу, или восхищался цветущими полями Кармеля, засеянными самим Богом! Но все эти впечатления не трогали его сердца, быть может потому, что он в это время уже не верил в чудо, не ждал от Бога ни откровения, ни участия в человеческой судьбе. Он не допускал, чтобы в этом жалком мире возможно было осуществление идеи добра, истины и красоты. Но вот наряду с великим чудом, о котором он читал в Евангелии, – чудом, совершившимся когда-то среди иудеев, он вдруг увидел другое, если не чудо добра, то чудо красоты, бессмертное создание греческого гения – Акрополь! – произведение, которое могло явиться лишь в античном мире, которое для нас лишь памятник минувшего, но вечный памятник, потому что в нем

воплощен идеал чистой красоты, освобожденный от всего случайного, местного и национального! Конечно, гораздо раньше Ренан уже пришел к убеждению, что в древней Греции зародились наука, искусство, философия и цивилизация, но только при виде Акрополя он постиг вполне великое значение древнегреческого гения и вновь испытал откровение божественного, которое уже коснулось его в ту минуту, когда он с высоты Касиуна впервые увидел долину Иордана, и перед ним как будто ожили все великие евангельские предания. Но впечатление при виде Акрополя было гораздо сильнее, потому что здесь, по выражению Ренана, он вдруг постиг то, о чем прежде не смел мечтать: пред ним явился «идеал красоты, точно застывший в сверкающих кристаллах пентеликского мрамора». В сравнении с этой дивной красотой весь мир показался ему невежественным и полудиким.

«Римляне были лишь грубыми солдатами, – говорит он в своих воспоминаниях. – Величие Августа и Траяна всегда казалось мне лишь позой в сравнении с благородной простотой гордых и спокойных эллинских граждан.

Кельты, германцы и славяне представляются мне наряду с ними чем-то вроде развитых скифов, отчасти, впрочем, испорченных цивилизацией. Все, что я знал до той минуты в области художественного творчества, показалось мне лишь жалким усилием иезуитского искусства, сочетанием рококо с напыщенной скукой, карикатурой и шарлатанством».

Словом, и здесь Ренан, как всегда, является последовательным идеалистом. Все умственное развитие человечества, с его точки зрения, сводится к осуществлению вечных идеалов истины, добра и красоты. Экономический прогресс, политическая свобода, благосостояние масс, государственная власть – все это лишь второстепенные факторы цивилизации. Вот почему Ренан приписывал такую исключительную, провиденциальную роль в истории человечества иудеям и эллинам: они явились представителями высших идеалов в области религии и искусства. Путешествия в Палестину, а затем в Грецию, доставившие Ренану столько новых светлых впечатлений и оказавшие такое сильное влияние на всю последующую литературную его деятельность, вместе с тем способствовали и упрочению его исторического миросозерцания. Цель его изысканий заранее была намечена: Иудея, Греция представлялись Ренану именно ареной величайших исторических событий. Он с глубоким сожалением сознавал, что не был подготовлен к великому труду по истории древнегреческой культуры, но зато он вполне обладал всеми необходимыми знаниями и громадным материалом для того, чтобы написать

историю израильского народа и первых веков христианства. По словам Ренана, «Жизнь Иисуса» была задумана им еще до выхода из семинарии. Лучшие свои годы он посвятил исполнению смелого замысла дать такую полную историю развития монотеизма и христианства, в которой все события представлялись бы в их неизбежной естественной связи, так что не было бы оснований допускать вмешательство сверхъестественных сил.

С внешней стороны задача эта несомненно выполнена. Ренан закончил «Историю первых веков христианства» (1863—1881 гг., 7 томов) и свою «Историю израильского народа» (1887—1892 гг., 5 томов). Труд этот с прибавлением двух томов его «Этюдов по истории религий» составляет значительную долю всего литературного наследства, оставленного писателем. Очевидно, вопрос о том, насколько этот труд соответствует современным научным требованиям, чрезвычайно важен для общей оценки его литературного и научного значения. Поэтому постараемся прежде всего ответить на поставленный выше вопрос. В протестантской Германии уже давно, спокойно и не торопясь, такие ученые, как Эйхгорн, Габлер, Фатер, Бруно Бауэр, Эвальд, де Ветте и многие другие, трудились над критическим исследованием Библии. Их изыскания, предпринятые под влиянием пантеистической философии, основанные на данных археологии и сравнительной филологии, имели по большей части строго специальный характер, а потому, вероятно, не производили большого шума, пока в это дело не вмешался смелый метафизик, известный доктор Штраус. Книга его под заглавием «Жизнь Христа», написанная в духе Гегеля, действительно наделала немало шума, но, как и сочинение Ренана, вызвала суровую критику со стороны ученых-специалистов. Дело в том, что Штраус стремился отождествить, с чисто метафизической точки зрения, историю происхождения религии с историей мифа. Бог, по его мнению, проявляется лишь в конечном, то есть в мире, а потому немыслим как нечто бесконечное, вне всякого бытия. В чем же заключается абсолютная истина? Человек ее не представляет, поскольку он конечен; Бог сам по себе, поскольку Он бесконечен, лишен реальности. Вот почему истинное, действительное бытие духа не есть ни Бог, ни человек, а Богочеловек. С тех пор как человечество достигло зрелости настолько, чтобы на этой истине основать единственную разумную религию, все сводится к явлению такой совершенной личности, которая могла бы олицетворить идею Богочеловека, подверженного, подобно человеку, страданиям и смерти, но вместе с тем единственно лишь силой духа господствующего над всей природой. Конечно, этот

метафизический Богочеловек-Христос не имеет ничего общего с действительностью. Ренан лишь отчасти воспользовался исследованиями Штрауса и так называемой Тюбингенской школы. В своих изысканиях он руководился не столько метафизическими, сколько историческими соображениями. «В этих сказаниях, – говорит он в предисловии к „Жизни Иисуса“, – необходимо таким образом сопоставить тексты, чтобы из них получилось последовательное и правдивое повествование, в котором не было бы ни одного фальшивого звука. В этом заключается лучший признак того, что исследователь не разошелся с истиной». Но что делать, когда в текстах заключаются непримиримые противоречия? «Тогда, – отвечает Ренан, – необходимо, сообразно с требованиями вкуса, допустить некоторые легкие натяжки, пока не получится гармоническое целое». Таким образом, Ренан стремится соединить требования научной достоверности с чисто эстетическими приемами, то есть дать нечто большее, чем строго научное исследование, возвыситься до синтеза искусства и науки, достигнуть такого совершенства понимания, которое – увы! – пока является для нас лишь чудною мечтою. Уже на склоне своих лет в предисловии к «Истории израильского народа» Ренан еще смелее высказывается в этом смысле: «Поверьте в силу моей интуиции!» – вот сущность его методы, не допускающей строгого научного подхода. «Верьте мне хоть немного, как доверяют вообще прозревшим, – говорит он, – а я глубоко убежден, что не ошибаюсь в истолковании общего смысла событий». Очевидно, сам Ренан, взывая к доверию своих читателей, сознается в научном несовершенстве своих исторических трудов и ставит себя в положение художника, проповедника, сочинителя исторических романов, пророка, кого угодно наконец, но только не ученого, который никогда не возьмется судить о том, чего не знает с полной достоверностью, и предпочтет лучше остановиться перед вечным неизвестным и откровенно вовремя сказать: «Не знаю». Ренан, приступая к исследованию истории христианства, не мог, да, вероятно, и не хотел, исполнить этого простого требования, иначе ему пришлось бы отказаться от давно задуманного труда. Быть может, в то время он уже сознавал, что наука сама по себе, как и религия, не в состоянии дать полного удовлетворения человеку, и, подобно многим выдающимся умам, томился жаждою более полного, возвышенного знания, искал новых путей и откровений, какие можно получить лишь посредством совершенной интуиции и синтеза науки и религии. Очевидно, стремясь к такому синтезу, Ренан дал нам в высшей степени субъективное произведение: полунаучное, полумистическое, исполненное недомолвок,

намеков и глубокой таинственной поэзии. Некоторые места его «Истории первых веков христианства» производят чрезвычайно сильное впечатление. Особенно удачна характеристика нравственных и религиозных стремлений эпохи, предшествовавшей явлению Христа. Здесь Ренан показал себя несравненным мастером в изображении возвышенных идеальных чувств и религиозных движений, сразу увлек скептически настроенную публику и приобрел совершенно исключительную славу. Он останавливается, между прочим, на громадном значении идеи мессианизма в истории иудеев и христианской веры.

По мнению Ренана, идея искупления рода человеческого зародилась еще в Персии, которая задолго до пришествия Христа уже выработала своеобразный мистический взгляд на историю мира как на целый последовательный ряд эпох, ознаменованных явлением великих пророков, которым и суждено в конце концов, после упорной тысячелетней борьбы, бесповоротно утвердить на земле власть Ормузда, то есть добра. Но прежде чем наступит день великой победы и все народы соединятся в неразрывный союз, заговорят одним языком и признают одну высшую власть и одно общечеловеческое право, свершатся на земле невыразимо-грозные события. Злой дух, освободившись от оков, наполнит мир ужасными бедствиями, пока наконец не явятся два великих пророка – предвестники грядущего Ормузда. Во время вавилонского пленения евреи с жаром восприняли эту утешительную персидскую идею, столь соответствовавшую их тяжкой судьбе и настроению. На этой почве и развилась впоследствии мрачная апокалипсическая литература. Необходимо помнить, что вера в бессмертие души вообще была чужда древним иудеям. В их старых религиозных преданиях нигде нет даже намека на неизбежное возмездие в загробном мире. Страшный гнев Иеговы за грехи отцов преследует лишь потомков до седьмого колена, и праведники подчас должны страдать за усопших нечестивцев.

Но человеческое сердце не могло никак примириться с такой ужасной судьбой. В эпоху полного расцвета древнеиудейской веры и порабощения народа все безотчетно жаждали исхода, но вместе с тем как погибающие цеплялись за старые обряды, потому что не было великого желанного пророка, который указал бы новые пути всем угнетенным и несчастным. Правда, благороднейшие умы уже в то время проповедовали идею чистой нравственности. По их мнению, истинная добродетель сама по себе имеет великую ценность и не нуждается поэтому ни в поощрении, ни в наградах. Людям не подобает по примеру

жалких рабов ждать подачки за добрые дела. Вечное успокоение на лоне Бога и забвение своей личности – вот высшее блаженство, о каком может мечтать великий праведник.

Но подобные отвлеченные, туманные теории никогда не пользовались широкой популярностью. Народ не мог до них возвыситься. Он удовлетворился бы скорее учением фарисеев о воскресении мертвых, но учение это было затемнено тогда массой всяких противоречий и лжетолкований. А в довершение беды развращенные аристократы и скептики-саддукеи открыто проповедовали языческие эпикурейские воззрения на жизнь, от которой старались взять побольше наслаждений в убеждении, что смерть бесповоротно разбивает все наши надежды и перечеркивает все наши счеты и расчеты. Вместе с тем и политическое положение Иудеи под римским владычеством становилось все более и более тягостным, именно потому, что «божий народ» никак не мог примириться с потерей независимости и с властью иноземцев, да еще язычников. Иерусалим в то время кипел от сдержанного негодования, точно котел, наполненный до краев загоревшейся смолой. Казалось, подготовлялся взрыв возбужденных до крайности политических страстей. На каждом шагу происходили мелкие стычки из-за пустяков: портили здания, построенные в римском стиле, с городских стен сбрасывали царских орлов, противились установке статуй и отказывали цезарю в титуле господина на том основании, что для избранного израильского народа господином является лишь единый Бог. Даже простая перепись населения казалась евреям возмутительным актом римского насилия. Избранный народ, когда-то при помощи Иеговы беспощадно истреблявший своих врагов, в то время еще не отличался ни терпением, ни покорностью судьбе, ни изворотливостью. Он сохранил воспоминание о тех днях, когда великие вожди вели его к верной победе; теперь его защитники умирали, как рабы, позорной, мученической смертью. Ненавистная власть, чуждая латинская речь и непонятная языческая цивилизация угрожали полным уничтожением народного духа. Пришельцы стремились захватить священную землю предков. Народ не мог понять, почему он обречен на такие бедствия, в то время как его гордые, корыстолюбивые и продажные первосвященники об руку с развратными язычниками безнаказанно наслаждаются всеми благами жизни и глумятся над старыми верованиями. Неужели за грехи предков Иегова навсегда отрекся от избранного народа?! Неужели никогда не обрушится Его ужасный гнев на головы дерзких нечестивцев? Неужели праведники обречены на полное забвение и тление в заброшенных могилах?! И простой люд

томился страшной жаждой обновления и жил в лихорадочном ожидании чуда. Много всяких шарлатанов, фокусников и лжепророков, встречаемых повсюду с величайшим энтузиазмом, бродило по стране, творя мнимые чудеса и возбуждая суеверный фанатический народ.

И тогда прозвучало страстное воззвание к заступничеству столь желанного с незапамятных времен Мессии-Искупителя, судьи народов и мстителя за всех угнетенных и оскорбленных. Измученный народ в лучшей его части проникся этою надеждой до глубины души. Многие в то время ждали скорого ее осуществления. И вот в этой атмосфере, наэлектризованной и душной, как накануне грозы, раздался невыразимо сладкий и кроткий голос, сразу пристыдивший книжников и фарисеев, озлобленных изворотливых проповедников узкой лицемерной морали и гнусной религиозной казуистики. Великий учитель говорил о милосердном Боге-Отце, по воле Которого солнце светит безразлично для всех людей как добрых, так и злых. В его словах заключалась божественная проповедь правды и добра, обращенная ко всем людям без различия их происхождения, веры и народности, – проповедь безграничной любви, терпения, всепрощения, милосердия, кротости. Это было настоящее восхваление бедности и простоты духа, а вместе с тем полное осуждение богатства, ложного блеска, обыденной житейской фальши и себялюбивой изысканной мудрости.

Подобная проповедь в эпоху всеобщего озлобления и ослепления поразила всех: и палачей, и жертв, и угнетенных, и тиранов. Жаждущие света и освобождения не задумались признать в лице Христа Мессию, – того великого пророка, пришествие которого знаменовало конец невыносимых бедствий и наступление новой всемирной эры… Но саддукеи и фарисеи – развратные, высокомерные и лицемерные приверженцы старого закона и бездушной казуистики – никак не могли понять Христа, учившего, что храмы во славу Отца небесного должны быть воздвигнуты не в городах, не на холмах, а в человеческих сердцах. Неумолимая бесчеловечная травля началась немедленно по прибытии Иисуса в Иерусалим. За кротким проповедником любви и всепрощения следили с злобною тревогой, расставляя ему сети из предательских вопросов и распространяя о нем возмутительные слухи. Очевидно, стремились скомпрометировать его перед синедрионом, судившим нарушителей религиозного закона, и перед римским прокуратором, утверждавшим смертные приговоры. Как отвечал на это Христос, мы знаем из Священного писания. Притча о великолепных повапленных гробах, наполненных внутри гнилью и костями, относится ко всем

ханжам, шепчущим молитвы и лишающим последнего крова сирот и бедняков; к лицемерам, платящим десятину от всех своих сборов и пренебрегающим милосердием и справедливостью; к формалистам, заботящимся о чистоте посуды и загрязненным до глубины души жадностью и злобой.

Ничто не может сравниться со злобой грешника, изобличенного в своей неправоте, и озлобление фарисеев достигло крайнего предела. Напрасно Иисус грозил им скорым разрушением их синагоги, воздвигнутой из древа и камня, и возвещал о предстоящем возникновении нерукотворного всемирного храма, напрасно говорил о грядущих бедствиях народа, распинающего своих пророков. Они не хотели и не могли понять великих слов, потому что грубая сила была на их стороне. В этой борьбе одного праведника, окруженного верными и преданными учениками, со знатью иудейского народа исчерпана была вся сила человеческого слова против грубой силы власти. Настал день, когда Иисус во всеуслышание провозгласил, что он – Сын Божий, Мессия, Искупитель мира, а спрошенный предательски, не признает ли он себя тоже и царем иудейским, ответил утвердительно, прибавив, что его царство не от мира сего. Тогда фарисеи и саддукеи возликовали: улики были налицо! Синедрион, конечно, не замедлил обвинить того, который именовался Сыном Божиим и грозил разрушением иерусалимской святыни, а на римском престоле восседал подозрительный Тиберий, поэтому обвинение Иисуса в самовольном присвоении титула «царя иудейского» являлось в высшей степени опасным. Незабвенные сцены преследования, заключения под стражу, осуждения и смерти Иисуса в изображении Ренана производят даже еще более потрясающее впечатление, чем известные картины Ге и Мункачи.

В разнородной толпе, состоящей из фарисеев, возбужденной ими черни, еврейской духовной и светской знати и учеников Иисуса, особенное впечатление производит оригинальностью своего облика римский прокуратор Понтий Пилат. Он никак не может понять, о чем хлопочут эти взбесившиеся евреи. Что значит этот старый закон, который они защищают, и те идеальные, возвышенные понятия, против которых они восстают с таким озлоблением? Да и что такое вообще истина? – недоумевает он. Что сделал этот кроткий человек, смерти которого они домогаются? По-видимому, он проповедовал какую-то новую науку. Но в древнем Риме можно было проповедовать все, что не нарушало общественного порядка и спокойствия. В учении Иисуса римский прокуратор не видит ничего предосудительного. В стране Цицерона, Сенеки, Лукреция и Лукана. подобный

человек, вероятно, заслужил бы всеобщее почтение как благородный философ и моралист. Понтий Пилат не может скрыть своего презрения к слепым обвинителям Иисуса, участь которого трогает его. Он даже не прочь под благовидным предлогом освободить узника. Но тот назвался иудейским царем, как уверяют все свидетели, а в Риме царствует Тиберий – гроза всех римских прокураторов, и Понтий Пилат как человек практический, скрепя сердце, предпочитает подписать ужасный смертный приговор, чтобы не рисковать своей служебной карьерой. Он умывает руки, возлагая всю ответственность за смерть Иисуса на его озлобленных обвинителей.

Второй том «Истории христианства» озаглавлен «Апостолы». Здесь Ренан дает замечательную характеристику умственного и нравственного настроения христианской общины, зарождающейся под свежим впечатлением ужасной казни на Голгофе, – настроения, столь непохожего во всех отношениях на скептический индифферентизм наших дней. Необходимо иметь в виду, что христианство было следствием эволюции человеческого духа, которая первоначально совершалась в массе простого народа и лишь затем охватила весь древний культурный мир и ниспровергла окончательно великолепные классические кумиры. Каким образом простые, необразованные люди могли явиться великими преобразователями целых стран? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять до тонкости своеобразное психическое состояние той отдаленной эпохи. По мнению Ренана, в этом вообще заключается сущность научной исторической критики, а особенно в данном случае непонимание характера эпохи могло бы привести прямо к нелепым заключениям. Дело в том, что под благодатным небом Востока в первые века нашей эры масса населения хотя и отличалась, быть может, большим суеверием и невежеством, чем у нас, на Севере, все-таки благодаря врожденной живости темперамента и сильно развитой фантазии стояла несравненно выше современной обездоленной, подавленной толпы. Она не испытывала ужасного гнета сурового климата и тяжких материальных забот, преследующих на каждом шагу современного рабочего. Правда, и в те отдаленные времена тяжкий физический труд плохо вознаграждался, но зато и удовлетворение простых человеческих потребностей в южном климате давалось настолько легко, что даже древние рабы не знали того ужасного труда, какой сплошь и рядом выпадает на долю свободного пролетария в наши дни. Кроме того, в древности религиозное воспитание являлось делом общественным, а потому до некоторой степени даже обязательным. Подобное воспитание, может быть, способствовало развитию суеверий, но вместе с тем

оно возвышало и облагораживало человеческую душу. Проводя целые часы в праздных мечтах под сенью садов или в оживленных спорах среди толпы на площадях, на перекрестках больших дорог, у городских ворот и храмов, простые люди в старину, при всем их невежестве, приобретали некоторое развитие в живом общении с себе подобными. Но развитие это было в высшей степени односторонним и условным. Критическая мысль ни в чем не проявлялась. Греко-римская наука могла оказывать некоторое влияние на воззрения высших классов населения, а толпа по-прежнему коснела в глубоком первобытном невежестве. Все ее миросозерцание было основано на преданиях, старых баснях и диких бреднях изуверов. Легковерие ее было безгранично; она не знала разницы между сновидением, сказкой и действительностью и, не задумываясь, принимала свои желания и предположения за несомненный факт. Подобная толпа при исключительных условиях очень легко поддавалась всяким увлечениям и самым гнусным подстрекательствам. Почти в одно и то же время она способна была проявить и женскую чувствительность, и зверскую жестокость, и фанатическое ослепление, и удивительную прозорливость. После кровавой оргии на Голгофе, когда обезумевшая от злобы толпа пресытилась мучениями и кровью Распятого, молившегося в страшный час смерти за врагов своих, настали дни горького раздумья, глубокой тревоги, ужасных воспоминаний, скорби и раскаяния. Любовь к великому учителю в сердцах его осиротевших учеников и многочисленных последователей дошла до настоящего экстаза. Они ждали чуда, победы Искупителя над смертью, осуществления надежд и предсказаний, связанных с явлением Мессии. Ведь в святых книгах ясно сказано, что он пришел затем, чтобы спасти мир, искоренить его злобу и пороки, основать царство Божие на земле. Как мог он умереть, не исполнив своего предназначения?! И вот чудо, которого так ждали измученные тоскою и состраданием ученики Христа, свершилось: они опять увидели дорогой божественный лик, услышали знакомый голос, который еще недавно наполнял их сердца невыразимым счастьем и спокойствием. Иисус являлся верующим на краю своей могилы, на вершинах гор, на берегах галилейских озер и наконец в часы вечерних собраний, когда ученики предавались трогательным воспоминаниям о своем божественном учителе.

* * *

Таким образом, догматы воскресения из мертвых и

вознесения Господня были установлены в первые моменты возникновения христианской общины, когда апостолы, по возвращении из Галилеи, собрались опять в Иерусалиме. Все верующие были глубоко убеждены, что Иисус восторжествовал над смертью и, подобно Моисею и Илии, окруженный божественным ореолом, вознесся на небо, где будет восседать одесную Бога-Отца до тех пор, пока не настанет уже близкий день исполнения всех предсказаний относительно Мессии.

……..

В данном случае чувство веры восторжествовало над всеми материальными препятствиями и чудо стало несомненным фактом, не возбуждающим никаких недоразумений и споров. Первые последователи Иисуса были так неразрывно связаны великими надеждами, воспоминаниями и любовью, что совершенно позабыли о своем личном существовании. Понятно, о праве собственности не было и речи. Имущество верующих поступало в полное распоряжение старших, заботившихся о нуждах бедняков. Эти праведники в то время и носили название нищих, или евионитов. Они поселились в одном из кварталов Иерусалима, целые часы проводили в глубоких размышлениях и общих молитвах, а по вечерам, собравшись за общей трапезой, предавались мистическим воспоминаниям. Словом, это была настоящая монастырская община, но только без иерархии. Ее невидимым главою был Иисус, а духовными отцами – ближайшие его ученики, живые свидетели его чудес и смерти, естественные истолкователи его поучений. При этом никаких принципиальных споров и борьбы за преобладание не возникало и не могло возникнуть. Воспоминание о святом учителе, проповедовавшем безграничную любовь даже к озлобленным врагам, всех сдерживало и примиряло. На внешние обряды не обращали особенного внимания. Впрочем, вступление в члены общины обязательно сопровождалось крещением согласно обычаям, перенятым отчасти у ессеев и некоторых древнееврейских сект. Практиковалась при этом и публичная исповедь. Все находились в страстном ожидании пришествия Мессии, а потому о земном никто не помышлял. Не заботились даже о том, чтобы устные предания и слова Иисуса увековечить в книгах и таким образом передать их потомству. К чему это, если дни мира сочтены?! Перед близкой кончиной остается лишь молиться. И верующие молились до полного самозабвения, громко пели, плакали и проповедовали на собраниях. Вследствие крайнего возбуждения из уст их иногда вырывались непонятные слова, которым возбужденные слушатели придавали пророческое значение. Все точно жили, не замечая ничего, в сверхъестественном мире

призраков. Таинственные видения и чудесные исцеления, составлявшие в то время обычное явление, еще усиливали всеобщее возбуждение. Необходимо заметить, что первые последователи Иисуса считали себя правоверными иудеями, строго соблюдали все старые обряды и законы Моисея. В этом отношении особенно выделялся Иаков, называемый братом Господним и пользовавшийся среди верующих не меньшим влиянием, чем апостол Петр.

Казалось бы, распятие Иисуса должно было бесповоротно оттолкнуть его учеников от народа, запятнанного кровью Мессии; но тем не менее даже в этом случае они не нарушали великого завета любви и сохранили веру в торжество Израиля. По их понятиям, только еврейский народ, избранный самим Иеговой, является носителем вечной правды, а потому Мессия, сошедший на землю для того, чтобы основать царство Божие, есть истинный еврейский национальный вождь. Слова Иисуса о том, что он принес правду и спасение всем верующим в слово Божие без различия их происхождения, не были как следует услышаны и поняты. Зато последователи его, сумевшие соединить проповедь всеобщего братства и любви с крайним патриотизмом, очень часто повторяли слова своего учителя, что он пришел не для того, чтобы разрушить старый закон, и ревностно стремились сохранить все связи с иудейством, поставив себя в положение новой еврейской секты. О распространении своих верований за пределами Палестины они нисколько не заботились. По их убеждению, весь языческий мир, ненавистный Рим, Греция, Египет, – все эти нечестивые народы и правительства, не признающие единого истинного Бога, заранее обречены на гибель. Один лишь избранный народ будет спасен Мессией в день страшного, но справедливого суда. Напрасно было бы призывать язычников к спасению в истинной вере; погрязшие в грехах и заблуждениях, они не в состоянии постигнуть учения Иисуса. Таким образом, лишенное своего общечеловеческого характера учение это распространялось на первых порах почти исключительно в пределах Палестины и проникло в Дамаск, Александрию, Антиохию и некоторые крупные города Востока лишь благодаря иудействующим, то есть таким иноплеменникам, которые, в поисках за истиной приняв первоначально иудейскую, а затем и христианскую веру, по возвращении на родину стали ревностными распространителями его.

Но для того чтобы христианство освободилось от искажений, внесенных в него духом слепого патриотизма, и овладело древним миром, потребовалось еще немало упорного труда и великих жертв. Пока последователи Иисуса представляли

замкнутую религиозную общину, чернь и фарисеи терпели их; но такое положение, несмотря на всю уступчивость и смирение христиан, не могло сохраняться. Вскоре один из самых ревностных и смелых проповедников нового учения, св. Стефан, был приговорен к смертной казни и побит камнями за то, что открыто говорил народу о близком возмездии за казнь Мессии, предсказывал скорое падение Иерусалима и разрушение Храма. Судьбе угодно было, чтобы среди палачей первого христианского мученика находился человек, которому христианство впоследствии оказалось особенно обязано своим распространением и безграничным торжеством. Быть может, вид пролитой за идею крови и взгляд святого мученика, обращенный к небу, где, умирая, он видел Бога-мстителя и искупителя, окруженного неземным величием, заронил первое мучительное сомнение в душу Савла, быть может, здесь следует искать начало того великого обращения преследователя в ревностного проповедника, в котором так наглядно сказалась непреодолимая сила христианства? Как бы то ни было, но мученичеством св. Стефана ознаменовался неизбежный разрыв между новым и старым законом. Стремление замкнуть христианство в узкие рамки национальной идеи потерпело полную неудачу главным образом благодаря Савлу, носившему латинизированное имя Павел и обладавшему, по-видимому, значительным по тому времени образованием. Это был именно один из тех людей идеи, одаренных непреклонной волей, которые являются вершителями судеб целых поколений и народов.

Характеристике этой замечательной личности и выяснению ее громадного значения Ренан посвятил конец второго, весь третий и часть четвертого томов своей «Истории христианства». Особенно сцена обращения Павла описана у Ренана в высшей степени художественно и правдиво. Без сомнения, такой развитой и нервный человек должен был испытывать по временам мучительные угрызения совести вследствие своего участия в преследовании безответных и кротких последователей Иисуса. Беззаветная их вера могла тронуть сердце и не такого верующего человека, как Павел, могла заставить его усомниться в правоте дела, которое приходилось отстаивать путем грубого насилия. Но в подобных случаях преследователи и палачи обыкновенно стараются заглушить голос совести и найти забвение в новых преступлениях. И Павел долго не сдавался, как все фанатики, проявляя болезненное упрямство в преследовании заранее намеченной цели. Вся его энергия проистекала исключительно из области духа, а телом он был немощен: его терзала какая-то таинственная болезнь. Он сам сравнивал эту болезнь с острым

лезвием, которым Бог исполосовал его жалкое тело. И вот этот великий фанатик и страдалец, заручившись разрешением еврейского первосвященника преследовать христиан за пределами Иерусалима, спешил в Дамаск, чтобы нанести кровавый удар едва возникшей там христианской общине. Вдали, в сиянии знойного дня, он уже видел стены и крыши городских домов, в которых скрывались намеченные им жертвы! А за ним, в лучах южного солнца, сверкали снежные вершины Ливанских и Гермонских гор. Изнемогая от жары и усталости, Павел с несколькими лишь спутниками медленно пробирался по дороге, проложенной по скатам холмов и гор, среди ореховых и оливковых рощ. Необходимо заметить, что эта местность и поныне отличается своим болотно-лихорадочным характером, причем внезапные заболевания часто сопровождаются временной потерей зрения. Возможно даже, что путники находились под гнетущим впечатлением внезапно нагрянувшей грозы. Что именно перечувствовал Павел в эту роковую минуту, – неизвестно, но он вдруг упал, точно сраженный молнией, и среди ослепительного блеска услышал голос Иисуса, говорящий ему по-еврейски: «Савл, Савл, за что преследуешь меня?» Когда видение исчезло, Павел убедился, что глаза его закрыты для внешних впечатлений. Спутники привели его в Дамаск, где он провел трое суток почти в беспамятстве, лишенный зрения, пока его не исцелил один христианин, по имени Анания. В те времена подобные исцеления посредством прикосновения к больному составляли среди верующих обычное явление

* * *

В эпоху безграничного сомнения люди не доверяют даже своим впечатлениям, чувствам и желаниям и сердца их закрыты для безотчетных откровений. Но Павел, при всем его образовании, верил, что мир управляется сверхъестественной силой, а потому ни на одно мгновение не усомнился в том, что слышит голос свыше и что сам Бог открыл ему глаза и указал пути к спасению. Судьба его была решена. Он сделался христианином.

Вскоре после этого христианская вера распространилась далеко за пределами Палестины, принимая все более и более общечеловеческий характер. К новому движению примкнули не только евреи, но и греки, и в богатом многолюдном городе Антиохии с греко-сирийским населением возникла значительная христианская община. Здесь впервые еврейское слово «Мессия»

перевели на греческий язык, и по имени Христа его последователи получили название христиан.

Все это совершилось благодаря неутомимой деятельности Павла и его ближайших сподвижников, среди которых особенно выделяется Варнава. В Священном писании сохранились несомненные указания на разногласия и даже столкновения новообращенного деятеля с приверженцами христианского иудаизма, мечтавшими лишь о спасении и всемирном торжестве еврейского народа. Дальнейшая история христианства показала, что в этом споре правда была на стороне свободомыслящего Павла, стремившегося к освобождению веры от всех исключительно национальных, староеврейских обрядов и прилагавшего все усилия к тому, чтобы идея всеобщей любви, возвещенная миру Иисусом Христом, очищенная от всех случайных примесей, сделалась доступной по возможности всем народам. Своим светлым умом, соединявшим возвышенный идеализм с необыкновенной практичностью и прозорливостью, Павел понял, что истинная вера не может быть исключительно национальной и что ослепленный фанатизмом далекий азиатский восток почти не способен к восприятию нового учения. Вот почему его поездки с целью пропаганды ограничились лишь Сирией, Малой Азией и преимущественно островами, городами и побережьями с греческим населением. Благодаря ему возникли могущественные христианские общины или соборы в греческих городах Ефесе, Колоссах, Коринфе, а также в Фессалониках, в Галате, во Фригии. В 58 году по Р.Хр. Павел прибыл вновь в Иерусалим, чтобы примириться с враждебной партией, но ошибся в своих расчетах: этот еврейский город, уже обреченный на разрушение, до последней минуты остался «гнездом осиным», столицей непримиримых изуверов. Только благодаря вмешательству римских властей Павел избегнул смерти и был приговорен к бичеванию как нарушитель общественного спокойствия. Тогда, под впечатлением вещих видений, он понял, что наступил наконец момент для осуществления его давнишней мечты – возвестить слово божие в столице мира. И, сославшись на звание римского гражданина, полученное им по наследству от отца, он потребовал суда Цезаря и сената. Это требование было вполне законным: римский гражданин, где бы он ни находился и что бы ни совершил, мог подлежать лишь суду верховной римской власти, и Павел после тяжкого и продолжительного заключения на отходящем из Азии корабле был отправлен в Рим, где в качестве государственного узника содержался под домашним арестом в одной из гостиниц, ревностно и смело проповедуя учение Христа.

Здесь мы переходим к сжатому изложению четвертого тома «Истории христианства», озаглавленного «Антихрист». По богатству исторического материала и ясности изложения том этот признается наиболее удачным. Наряду с великим проповедником слова божия, пожертвовавшим всем ради торжества идеи и доживающим свои последние дни, Ренан мастерски изобразил чудовищного развратника Нерона, не признававшего ничего, кроме страстей и своих личных капризов.

«Когда Цезарь терял ум, когда лопались все артерии его несчастной головы, помутившейся от неслыханной власти, – говорит Ренан, – то происходили невозможные безобразия. Мир был отдан в руки чудовищу. Не было возможности его прогнать; его гвардия с остервенением отстаивала его. Затравленный зверь укрывался и бешено защищался. Что касается лично самого Нерона, то это было в одно и то же время нечто ужасное и смешное, величественное и глупое».

В его лице, казалось, порок отождествлялся с искусством, которое служило лишь средством гнусного неслыханного разврата. С высоты трона было объявлено, что добродетель – ложь; что христиане и вообще все добродетельные люди – или лицемеры, или крамольники и бунтовщики, которых необходимо истреблять, как диких зверей; что истинно порядочный человек только тот, кто, не стесняясь, сознается в своей полной порочности; что человек велик лишь в деле разрушения, когда он пользуется всем, не давая ничего взамен, когда он все бесповоротно разрушает или создает, следуя минутному капризу. Пожар Рима был одним из подобных капризов Нерона. Мнилось, что весь древний мир обречен на гибель по воле обезумевшего Цезаря, и в апокалипсических видениях отшельника из Патмоса, казалось, отразилась ужасная действительность. Жестокие преследования христиан, всеобщее падение нравов и неурядица, восстание иудеев, смерть Нерона, продолжительная осада и разорение Иерусалима, междоусобная борьба партий и убийства в Храме, триумф Тита и Веспасиана, избиение побежденных и скованных евреев среди игр – все эти сцены из истории осужденных на смерть народов в изображении Ренана соединяются в одно законченное целое. Среди всеобщей гибели восторжествовало лишь учение любви и всепрощения. С тех пор как ослепленный фанатизмом и обагренный кровью мучеников и палачей Иерусалим пал, победа христианства была обеспечена. «После возникновения учения Христа иудейство уже не имело более основания существовать, – говорит Ренан. – Израиль отдал все сыну своей печали и исчерпался в этом рождении. Закон появления великих созданий таков, что виновник жизни их

умирает, передав бытие другому. После передачи жизни тому, который должен ее продолжать, виновник жизни есть не более как сухой ствол, зачахшее существо. Впрочем, редко бывает, чтобы этот приговор природы тотчас же исполнялся: отцветшее растение все еще стремится жить. Мир полон таких блуждающих скелетов, которые переживают поразивший их приговор. Иудейство принадлежит к числу их. История не знает зрелища более странного, чем то, каким является сохранение этого народа, который в течение почти тысячелетий не проявил жизненной отзывчивости к совершившемуся, не написал страницы, достойной прочтения, не дал нам верной о себе справки. Нужно ли удивляться тому, что, прожив таким образом целые века вне вольной атмосферы человечества, в подвале, если можно так выразиться, в состоянии особого рода безумия, он выходит из него бледным, чахлым?»

Конечно, утверждать, подобно Ренану, что жизнь какого бы то ни было народа исчерпывается одной идеей и что миллионы людей живут лишь исключительно ради идеальных целей, – это значит увлекаться, но тем не менее и независимо от подобных недостатков «История христианства» в общем дает верную картину событий той достопамятной эпохи.

В трех последних томах – «Евангелия» (т. V), «Христианская церковь» (т. VI) и «Марк Аврелий и конец древнего мира» (т. VII) – Ренан, с одной стороны, исследует условия и события, сопровождавшие создание Евангелий как апокрифических, так и канонических, прослеживает постепенный рост христианской церкви, изучает ее внутреннюю организацию и взаимные отношения различных христианских общин, а с другой стороны, изображает античный мир в эпоху борьбы его с иудейством и нарождающимся великим учением и наконец полное торжество христианства. Перед своей кончиной высокомерный языческий Рим еще раз встрепенулся и попытался отстоять свое существование и власть над миром. Этот момент очень ярко изображен в пятом томе. «После долгих жестоких испытаний, пережитых Римской империей, – говорит Ренан, – избрание Траяна на престол римских императоров обеспечивало цивилизованному человечеству того времени целое столетие благополучной жизни. Римская империя была спасена. Траян, которого усыновление Нервой поставило во главе империи, был действительно великий человек, настоящий римлянин, вполне владевший собой, хладнокровный в начальствовании над массами, серьезный и достойный. Нет сомнения, что он обладал меньшим политическим гением, чем Цезарь, Август и Тиверий, но он был зато выше их по своей справедливости и доброте. В

отношении же военных талантов он уступал только Цезарю. Философией он не занимался, подобно Марку Аврелию, но был равен ему своей практической мудростью и благосклонностью. Его твердая вера в либеральные идеи ни разу не поколебалась. К философам Траян постоянно относился с величайшим уважением и с самой изысканной внимательностью. Таким образом между греческими учениями и римской гордостью установился наитеснейший союз. „Жить, как подобает римлянину и человеку“, – вот мечта каждого, кто сколько-нибудь уважает себя. Не подлежит сомнению, что древняя философия переживала тогда дни величайшего подъема: еще никогда она не проникала так глубоко в личную и общественную жизнь. Все это было похоже на какой-то запоздалый расцвет прекраснейшей умственной культуры, созданный совместными усилиями греческого и итальянского гения. В основании своем эта культура была осуждена на смерть; но, прежде чем умереть, она давала из себя последний рост листьев и цветов. И вот наконец настало время, когда мир человеческий будет управляться разумом. В течение ста лет философии предстоит наслаждаться присущей ей способностью делать народы счастливыми. Масса превосходнейших законоположений, составляющих лучшую часть всего римского права, принадлежит этому времени. Создаются общественные благотворительные учреждения; дети в особенности составляют предмет попечения государства. Правительство воодушевлено истинно нравственным чувством».

Однако сам Ренан признает, что во время мудрого управления великих императоров положение христианства оказалось в действительности гораздо худшим, нежели тогда, когда злодеи I века наносили ему жестокие удары. Ясно, что все эти прославленные цезари: Траян, Адриан, Антонин и Марк Аврелий, – если и были мудры, то лишь в весьма условном и ограниченном смысле; что их либерализм, подобно либерализму английских лордов, был только кажущимся; что они были в действительности преисполнены всяких предрассудков и римской гордости, не признающей ничего вне Рима, и что поэтому падение древнего мира, несмотря на внешние успехи и временный подъем античного духа, являлось неизбежным. Достаточно вспомнить, с какой неумолимой жестокостью Траян и Адриан подавили новое восстание евреев в Киренаиде, Египте и на Кипре, как все иудейское население местами было систематически и поголовно истреблено и как мятежники-евреи в пылу бешеной борьбы питались мясом римлян и греков, делали себе пояса из их кишок и кожи, купались в крови своих жертв, отдавали пленников живьем на съедение диким зверям и подвергали их утонченным

мучениям; достаточно заметить, что рабство в то время процветало, чтобы убедиться в призрачности мечты о царстве разума в античном мире. Очевидно, древнееврейское правило «око за око и зуб за зуб» и власть высокомерного языческого Рима устарели и не могли устоять в борьбе с учением всеобщей любви и всепрощения.

Последний том «Истории христианства» заключает в себе очерк развития христианской церкви в царствование Марка Аврелия и параллельную картину усилий философии преобразовать государственный и общественный строй на основании чисто рациональных принципов.

«Второе столетие, – говорит Ренан в предисловии к седьмому тому, – имело двойную славу основать христианство, то есть великий принцип, реорганизовавший нравы путем веры в сверхъестественное, и видеть, как была испробована благодаря стоицизму и без всякого вмешательства супернатурализма высокая попытка светской школы. Обе эти попытки были чужды друг другу, но торжество христианства только тогда понятно, когда отдашь себе отчет в том, что попытка стоиков имела энергичного и что – недостаточного… В этом отношении Марк Аврелий является поучительной личностью, к которой постоянно приходится возвращаться. Он резюмирует собой все, что было лучшего в античном мире, и имеет еще то преимущество, что является без покрывала благодаря сочинению бесспорной искренности и достоверности. Более чем когда-либо я думаю, что период происхождения, эмбриогенез христианства, если так можно выразиться, оканчивается с Марком Аврелием в 180 году. В этот момент великое дитя имеет все свои органы; оно отделено от своей матери и будет жить уже собственной жизнью. К тому же смерть Марка Аврелия может быть рассматриваема как заключение античной цивилизации. Все, что делается хорошего после его смерти, не принадлежит уже эллино-римскому элементу; торжествует элемент еврейско-сирийский, и хотя нужно еще целых сто лет до окончательного его торжества, но уже и тогда видно, что будущее принадлежит ему. Третье столетие есть агония целого мира, который еще во II веке был полон жизни и сил».

Но уже в то время расцвет древнего мира является кажущимся, как отчасти признает и сам Ренан. Греко-римская философия стоиков, блестящим представителем которой был Марк Аврелий, не могла избавить древний мир ни от пороков, ни от возмутительных злоупотреблений, ни от ужасных насилий и жестокостей уже потому, что эта философия, по существу аристократическая, искала опоры лишь в человеческом разуме и с

презрением отворачивалась от действительности, а погибающий древний мир нуждался в коренном нравственном перерождении.

«История первых веков христианства», состоящая из семи отдельных томов, посвященных исследованию выдающихся моментов в развитии учения Христа, даже по мнению ее автора не представляет сама по себе вполне законченного целого. Без сомнения, христианство возникло из иудаизма; учения Моисея и Христа, Старый и Новый завет, как известно из Священного писания, не находятся между собой в непримиримом противоречии, а, напротив, сливаются в одно неразрывное законченное целое; поэтому Ренан естественно должен был прийти к осознанию необходимости, поставив стены, воздвигнуть и фундамент того величественного здания, над постройкой которого он трудился столько лет. Таким фундаментом к «Истории христианства», по замыслу ее автора, должна служить «История израильского народа», написанная им, однако, много лет спустя, уже в глубокой старости (1887—1892 гг.). «В „Жизни Иисуса“, – говорит Ренан, – я пытался представить величественный рост галилейского дерева от земли до его верхушки, где поют небесные птицы. В книге, которую я писал в течение последнего лета, я полагаю раскрыть зародыши христианства, исследовать почву, где заложены его корни». Однако вполне этой цели он не достиг, ограничившись лишь изучением религиозных стремлений Израиля.

Мы уже знаем, что, по мнению Ренана, весь смысл существования «избранного народа» сводится к созданию великой религиозной системы, что с появлением Христа эта цель была достигнута вполне и еврейский народ давно уже обречен на смерть. Однако он все еще живет и хочет жить, как живут многие народы, не создавшие никакой особенной ни политической, ни религиозной системы и не признающие над собою высшей власти идеи. Все дело в том, что «жизнь для жизни нам дана» и что развитие народов, как и личности, не исчерпывается служением одной отвлеченной идее, что обусловлено оно стечением разнородных начал и чрезвычайно сложным сочетанием социальных, экономических, исторических, этических и других законов. Воспитанный монахами Ренан был склонен придавать чрезмерное значение религиозной идее в развитии человечества, упуская из виду влияние других, не менее существенных исторических факторов. Его «История израильского народа» является в сущности лишь историей религиозных верований Израиля.

В интересах изложения мы отступим несколько от хронологического порядка и постараемся в общих чертах

передать здесь содержание этого последнего произведения Ренана в связи с его прочими трудами по истории религий. Метода, какой следовал в данном случае автор, уже нам известна; ее особенность заключается в своеобразном сочетании приемов исключительно художественных и литературных с научными. В «Истории израильского народа» эта особенность сказывается очень сильно. Ренан иногда прерывает повествование о давно минувших исторических событиях ссылками и намеками на современное положение вещей во Франции и т. п. Свое изложение он начинает с древнейших времен, когда израильский народ являлся еще малочисленным племенем сирийского происхождения, живущим в ближайшем соседстве и общении с филистимлянами, аммонитянами, моавитами и другими столь же невежественными и полудикими народами. Его прародители, легендарные патриархи, по словам Ренана, поклонялись фетишам, или так называемым «елогимам». Затем установился культ Иеговы, который первоначально являлся не единым Богом-Вседержителем и Творцом вселенной, а исключительно национальным покровителем Израиля, как Ваал у финикиян, Дагон у филистимлян и Молох у аммонитян. Этот бог Израиля обладал в полной мере всеми ужасными свойствами национальных языческих богов: был завистлив и жесток, особенно с врагами своего народа, а гнев его мог быть утолен лишь кровью жертв.

В эпоху Давида и его преемников, историю которых Ренан излагает очень подробно, понятие единого всемогущего Бога еще не получило надлежащего развития и еврейский народ еще не освободился окончательно от чудовищных представлений политеистического миросозерцания. Полная религиозная эмансипация наступила лишь в VIII веке до Р.Хр. под влиянием великих пророков Михея, Осии, Амоса и Исайи, с несравненной силой выразивших идею всеведущего и вездесущего совершенного Бога, требующего от людей не кровавых жертв, а нравственного совершенства и чистых молитв.

Этот момент полного расцвета религиозных верований Израиля, возвысившегося наконец, после долгих колебаний и тяжких падений, до идеи чистого духовного монотеизма, служащей выражением величайшего торжества человеческого духа над ограниченными материальными представлениями, изображен Ренаном очень рельефно, но в характеристике выдающихся исторических деятелей автор расходится с господствующими на этот счет воззрениями; так например, благочестивый псалмопевец царь Давид является у него, подобно большинству политических деятелей, довольно заурядным

честолюбцем, не особенно разборчивым в выборе средств для достижения намеченных им личных целей. Легендарная мудрость царя Соломона также изображена Ренаном в несколько двусмысленном виде. Прославленный Храм представляется вообще довольно жалкой и посредственной постройкой, и т. п.

Эпилогом к «Истории израильского народа» служит превосходный очерк царствования иудейского царя Ирода Великого, напечатанный уже после смерти Ренана. В личности этого легендарного тирана, полуараба, полуеврея, порвавшего связи с историей и религией своей страны, проявляется какая-то демоническая сила. Хладнокровие, с каким он совершал ловко обдуманные убийства, например, утопление во время купания ненавистного ему еврейского первосвященника, производит ужасное впечатление. По-видимому, он проникся древнеэллинским духом и стремился играть роль покровителя искусств, особенно зодчества. Не меньше Нерона он заботился об украшении своей столицы и устройстве зрелищ для народа в римском вкусе. В сравнительно короткое время Ирод достигает значительных успехов в управлении страною, материальное благосостояние которой благодаря ему быстро возрастает. Его цель – установление сильной светской власти взамен теократического строя древней Иудеи – обличает в нем великого преобразователя, одаренного недюжинным умом и прозорливостью. Он как будто создан для того, чтобы возвеличить и спасти свою страну, но на самом деле весь блеск его царствования – обманчивый блеск. Это лишь зарево ужасного пожара, раздутого преступником, чтобы скрыть следы гнусных злодеяний. В душе Ирод – такой же зверь, как и Нерон, которому по своей жестокости и неверию он мог бы послужить наглядным образцом и прототипом. Правда, он мирился с религией своей страны, но лишь как с необходимым обрядом, а добродетель ненавидел, конечно, не меньше Нерона. Он не уступал последнему также в подозрительности и в злобе; в сущности, Ирод ненавидел всех, не исключая даже своей любимой жены Мариамны, которую под пустым предлогом осудил на казнь. И наконец уже на смертном одре, измученный ужасными видениями, смутными предчувствиями и таинственной мучительной болезнью, он при одной мысли, что его сын после его кончины, освободившись из тюрьмы, может вступить на престол, доходит до такого бешенства, что на краю могилы делается сыноубийцей. Не обладая и сотой долей власти Нерона, он успевает совершить в полном уме и здравой памяти не менее злодеяний, чем безумный цезарь.

Наряду с вышеизложенными обширными историческими

трудами Ренан написал целый ряд сравнительно небольших этюдов по истории религий, изданных в виде двух объемистых сборников, по богатству и разнообразию содержания представляющих исключительное явление во всемирной литературе. Это целая картинная галерея. Прежде всего мы с изумлением останавливаемся перед мастерскими портретами известных религиозных деятелей, средневековых монахов и реформаторов вроде Кальвина, мыслителей, проникнутых святою любовью к истине, как Галилей и Спиноза, святых мистиков вроде Франциска Ассизского, влюбленного в бедность, и Екатерины Стомельн, с сердцем невинным, как у ребенка, и израненным, как у мученика, тихо умирающей от любви к Богу и неразгаданного чувства к человеку, зажегшему в ее душе всепожирающее пламя веры. Рядом с блестящими характеристиками отдельных личностей здесь же помещены целые картины из средневековой религиозной жизни, изображения схоластических споров и столкновений различных сект с господствующею церковью, этюды по истории буддизма и магометанства, исследования по сравнительной мифологии и очерки древнеперсидских и древнегреческих верований.

В изображении самых сложных и разнообразных религиозных настроений народа и отдельных личностей Ренан является не только великим мастером, но и пионером. Во Франции особенно этот род литературы сорок лет тому назад находился в таком пренебрежении, что даже ловкий и проницательный Бюлоз, издатель журнала «Revue des deux Mondes», отказался напечатать исследование уже не безызвестного тогда Ренана «О буддизме» под тем предлогом, что оно мало правдоподобно и неинтересно для читающей публики. Как оказалось, Бюлоз на этот раз ошибся, и автор «Истории христианства» и «Этюдов по истории религий» вскоре достиг такого крупного успеха, какой выпадает на долю лишь немногих избранных. Он сумел заинтересовать даже легкомысленный, рассеянный Париж вопросами религии и морали. Секрет этого исключительного успеха, однако, очень прост: исследование религиозных верований у Ренана сводится к изучению человеческого духа и сердца, этого неиссякаемого источника всех наших надежд и упований. На первом плане у него не религиозный догмат, а скрытое в глубине догмата чувство; внешняя форма интересует Ренана настолько, насколько она может послужить к уразумению великих тайн души. Религия с его точки зрения является лишь основным фактом умственного развития человечества. Вот почему в его изображении даже нелепые схоластические споры и чудовищные религиозные представления первобытных народов не кажутся нам скучными и

ничтожными. Раскрывая перед читателем весь ужас падения отживших религиозных систем, когда вместе с низверженными богами гибли и миллионы верующих, Ренан всегда с глубоким сочувствием относится к страданиям человека, стремящегося к познанию вечной истины и обреченного на безысходную борьбу и скитания без конца. Основатели новых религий, великие реформаторы, проповедники, святые с его точки зрения являются прежде всего людьми, не чуждыми обычных слабостей и недостатков. Все их величие заключается лишь в беззаветном стремлении к истине, а не в личных достоинствах. Как сильно эта черта сказывается, например, в Магомете.

«Он несколько раз делал зло совершенно сознательно, – говорит Ренан, – отлично зная, что повинуется своей воле, а не вдохновению свыше. Он дозволяет разбойничество, предписывает убийство, он лжет и позволяет лгать другим на войне из военной хитрости. Можно бы привести тысячи случаев, когда он поступает против нравственности из политической выгоды. Один из его самых странных поступков, конечно, есть обещание Осману прощения всех грехов, которые он может совершить до своей смерти, в награду за большой денежный взнос».

В довершение всего Магомет до безобразия женолюбив, но он все же велик в своих первых испытаниях, велик в силу своей веры.

«В глазах критика, стоящего среди бегущей и неуловимой действительности, – говорит в заключение Ренан, – нет ничего абсолютного в человеке, носящем рядом с печатью красоты и свое прирожденное пятно. Кто может в своих собственных нравственных ощущениях определить линию, отделяющую приятное от ненавистного, безобразие от красоты, ангельское видение от сатанинского и даже, в некоторой степени, – радость от горя? Так как религии – самые полные произведения человеческой натуры, выражающие ее с наибольшей цельностью, то они настолько же подвержены противоречиям и не допускают суждений простых и абсолютных. Святой и негодный, прелестный и отвратительный, апостол и фокусник, небо и ад подают друг другу руки, как видения тревожного сна, когда поочередно появляются все образы, скрытые в извилинах фантазии».

Но если даже наши верования обманчивы, как сновидения, если даже то, что мы считаем безусловной истиной, оказывается впоследствии лишь неизбежным заблуждением, тогда на что же нам надеяться? Где эта высшая правда, без которой вся наша жизнь – тяжелый кошмар и невыносимое бесцельное страдание? Высшая правда – в бесконечном стремлении к Богу; вся наша надежда заключается в постепенном умственном развитии, в неутомимом стремлении к самосознанию и нравственному

совершенству, – вот основной принцип трудов Ренана по истории религий. Без этого принципа все выводы автора «Истории христианства» имели бы для нас лишь отрицательное значение.

Глава VI

Путешествие в страну льдов. – Политическая катастрофа. – Полемика со Штраусом по поводу франко-германской войны. – Политические воззрения Ренана и его философские драмы.

Летом 1870 года Ренан в свите принца Наполеона отправился в страну льдов, на Шпицберген. В то время еще никто не замечал надвигавшейся грозы и не предчувствовал бедствий опустошительной войны, нанесшей такие ужасные раны несчастной, обманутой Франции. Ренан, вообще не обладавший житейской прозорливостью и политическими талантами, разделял всеобщие иллюзии и хотя был не особенно высокого мнения об уме императора Наполеона III, но, очевидно, еще не понимал, до какой степени этот честолюбец успел развратить и одурачить великую страну. Если бы великий писатель знал истинное положение вещей, то, конечно, в статье своей под заглавием «Конституционная монархия во Франции», напечатанной в 1869 году, за год до восстановления республики, не пытался бы доказывать, что республиканский режим совершенно немыслим во Франции.

Если бы он мог предвидеть, что дни империи сочтены, то, вероятно, не решился бы выступить кандидатом в члены законодательного собрания и не написал бы президенту совета министров, пресловутому Оливье, письма, в котором, стараясь выказать благонамеренность, уверял, что он не Лютер XIX века и не «папа свободомыслия», как остроумно прозвал его Дюма-сын. К чести Ренана следует, однако, заметить, что его попытки сыграть политическую роль не увенчались успехом: он потерпел неудачу как в 1869 году, так и в 1876 году, когда выступил кандидатом на пост сенатора республики. Очевидно, великий идеалист и мечтатель был неспособен ни к компромиссам с печальной действительностью, ни к оценке современных сложных политических событий. По крайней мере франко-германская война явилась для него совершенной неожиданностью, ужасной катастрофой, в которой одновременно с благосостоянием и спокойствием родины рушились и его лучшие надежды. Первые смутные вести о близкой войне между двумя наиболее культурными государствами Европы застигли путешественников в городе Бергене, но принц Наполеон и его спутники не придали им никакого значения. Война казалась всем такой нелепой и бесцельной, что никто не хотел верить, чтобы правительство осмелилось ее объявить. Решено было ехать дальше. В Тромзе,

однако, была получена депеша о неизбежности войны от самого Оливье, а на другое утро после тревожной ночи Ренан с глубоким волнением заметил, что пароход, на котором он ехал, отправляется не на север, а назад, к берегам Франции. Сомнений больше не было: ужасное бедствие разразилось над цивилизованной Европой. Гнусная война по воле безумных честолюбцев была объявлена. Известный критик и публицист Брандес рассказывает, что по возвращении в Париж из неудачной поездки Ренан казался очень расстроенным. Куда девалось олимпийское спокойствие великого писателя, его самоуверенный, слегка насмешливый, изящный тон, так восхищавший парижан и поразивший Брандеса при первой встрече с ним всего лишь несколько месяцев тому назад?! Под влиянием глубокого негодования Ренан забыл даже свой основной литературный принцип, гласивший, что истина заключается лишь в тонких оттенках, и, нисколько не сдерживаясь, без малейших оттенков и оговорок клеймил названием «негодяев» и «бездарностей» людей, стоявших в то время у кормила правления. «Никогда еще несчастный народ не находился под властью подобных дураков, – говорил он Брандесу, видимо взволнованный, со слезами на глазах. – Со стороны кажется, что император лишился рассудка, но виноваты его приближенные, ведь это все низкие льстецы. Подумать страшно, что все труды людей науки и прогресса погибли от одного удара. Все рухнуло: симпатии между двумя народами, взаимное понимание, полезный совместный труд. Как подобная война убивает всякую любовь к истине! Какая ложь, какая клевета друг на друга в течение по крайней мере полувека будет признаваться за несомненную истину между двумя враждебными народами. И эта ложь, подобно глухой стене, разъединит их. Как гибельно это отразится на умственном развитии Европы! Сотни лет не хватит для восстановления того, что честолюбцы разрушили в один день!»

Ренан с глубоким презрением отзывался о деятельности «апостолов крови и железа», вроде Бисмарка и Мольтке, но, конечно, подобные господа вполне довольствуются рукоплесканиями черни и своих единомышленников, а мнением «идеалистов» и мечтателей не особенно стесняются. Воззрения Ренана, высказанные им в статье о франко-германской войне, послужили лишь поводом для громкой, но совершенно бесцельной полемики с Давидом Штраусом, вдруг превратившимся из кабинетного ученого и метафизика-гегельянца в пламенного поклонника прусской политики насилия и организованного международного грабежа. Без сомнения, в этой полемике правда была на стороне идеалиста Ренана, но

действительность разошлась с его воззрениями и наглядно показала, что политики культурной Европы руководствуются прекрасными соображениями о благе и дружном общении народов больше на словах, а на деле отдают предпочтение практическим целям в виде территориальных приобретений, военных вознаграждений, контрибуций, реквизиций и выгодных союзов, обеспечивающих хотя бы временное преобладание над другими государствами. Франко-германская война оказала громадное влияние на дальнейшую литературную деятельность Ренана, заставив его задуматься над современным положением Европы. Его мечта о союзе наиболее культурных государств – Англии, Франции и Германии – для дружного противодействия России безвозвратно погибла. Неудивительно, что его самое крупное публицистическое произведение под заглавием «Умственная и нравственная реформа», изданное вскоре после франко-германской войны, носит явные следы глубокого разочарования. Под свежим впечатлением ужасных событий слегка насмешливый, даже изысканный и вместе с тем сентиментальный тон Ренана становится более искренним и резким. Смешивая демократический строй с буржуазным современным строем Западной Европы и особенно Франции, он выступает убежденным противником последнего главным образом потому, что буржуазия открыто стремится к замене исторически сложившейся государственной власти безнравственной властью случайно разбогатевших людей и отвергает традиционную иерархию, лежащую, по мнению Ренана, в основе всякого благоустроенного общества. От юношеских восторгов перед французской революцией, высказанных так красноречиво в «Будущем науки», не осталось и следа. Ренан забыл даже то, чего ему как ученому во всяком случае не следовало забывать, а именно, что только после великой революции сделалось, в сущности, возможным широкое научное развитие, особенно в области социальных наук, и что в течение XIX века осуществлены такие великие научные открытия и достигнуты во всех отношениях такие крупные успехи, о каких в доброе старое время не смели и мечтать. Без сомнения, крупная ошибка вождей революции заключалась в том, что они, отвергнув исторические традиции, стремились основать общественный строй исключительно на отвлеченных соображениях о народном благе и правах человека, но эта крайность явилась неизбежным результатом полного отрицания человеческих прав в эпоху неограниченной монархии Бурбонов. Вступив на путь крайностей и поддавшись увлечениям, Франция зашла слишком далеко. Разочарование представлялось неизбежным, ибо кто забегает

чересчур вперед, тот поневоле должен возвращаться назад, и Франция естественно отстала от Англии, последовательно подвигавшейся по пути прогресса. Каков же выход из переходного положения, созданного французской революцией? Ренан не дает положительного ответа на этот вопрос. Все его симпатии на стороне павшей аристократии и законной монархии, но он понимает, что возврат к прошлому невозможен, а настоящее кажется ему почти безнадежным.

Изучая различные стороны современно государственного строя, он приходит к заключению, что формы его могут быть сведены к двум основным типам, по типу преобладания государства над личностью или, наоборот, личности над государством. В первом случае государственная власть допускает существование личной независимости и свободы лить настолько, насколько это необходимо в интересах государства. Граждане, или, вернее, подданные, подобных монархий вынуждены платить обыкновенно громадные налоги, чуть не поголовно отбывать воинскую повинность и подвергаться на каждом шагу очень тягостным личным стеснениям, но взамен этого государственная власть обеспечивает в значительной степени их благосостояние, безопасность и даже отчасти их умственное развитие. Образцом государства первого типа, господствующего в Европе, является Пруссия. В государствах же преимущественно демократических, вроде Американских Соединенных Штатов, напротив, правительственная власть развита настолько слабо, что личность пользуется почти неограниченной свободой до тех пор, пока ее интересы не приходят в столкновение со стремлениями других сограждан. Из столкновения неизбежно возникают сильная конкуренция и ожесточенная борьба за существование, в которой государственная власть не принимает почти никакого участия, а потому более слабым и неуклюжим бойцам приходится иногда очень плохо. Они обречены на гибель. Правосудие в подобных странах обыкновенно находится в печальном состоянии. Науки и особенно искусства не процветают; почти не видно блестящих мундиров и не бывает особенно парадных церемоний, но зато личность пользуется сравнительно значительной свободой, не несет слишком тягостных повинностей, не обременена чрезмерными налогами в интересах казны и при большой энергии может вполне оградить себя от неудобств, проистекающих вследствие недостатка гарантий безопасности со стороны государства.

Франция, по мнению Ренана, вследствие испытанных ею потрясений и переворотов уклонилась от обоих вышеуказанных типов государственного устройства, и пока она не выработает

прочной общественной формы, совмещающей личную свободу с прочным государственным порядком, до тех пор она обречена на тягостные блуждания и утомительные переходы от одной крайности к другой. Ренан не решается в точности определить желательную форму будущего государственного и общественного строя, но в своих «Философских диалогах» дает понять, что будущее во всяком случае принадлежит не демократии, а скорее безусловной монархии или даже, смешно сказать, олигархии, то есть такой форме правления, которая, будучи властью группы узурпаторов-аристократов, по общепринятому ныне мнению, основанному на известных исторических примерах, соединяет в себе все неудобства необузданной анархии и деспотизма. Необходимо заметить, что оригинальные политические взгляды Ренана находятся в теснейшей связи с его философскими воззрениями. Его презрение к демократии основано на убеждении, что толпа не способна возвыситься до полного понимания высших идеалов добра, истины и красоты и что все ее стремления сводятся, в сущности, к удовлетворению материальных потребностей. Сытая и довольная толпа, по мнению Ренана, пожалуй, еще хуже голодной, потому что самодовольное невежество делает человека окончательно неспособным к самосознанию и развитию.

В применении к современной ожиревшей буржуазии больших городов этот взгляд действительно представляется довольно верным. Влияние буржуазных воззрений, без сомнения, очень неблагоприятно отразилось на современном искусстве и отчасти способствовало порче нравов; но из этого еще не следует, что аристократия является настоящим воплощением всех человеческих добродетелей, живым образцом благородства и красоты. Не убеждает ли нас история, напротив, в том, что власть, основанная исключительно на сословных привилегиях или преобладании капитала, в конце концов приводила к самым печальным последствиям, способствуя лишь разврату и всяким злоупотреблениям. В древнем мире только Греция достигла исключительных успехов в области философии, искусства и науки, но ведь в эпоху наибольшего своего процветания Эллада была именно демократической республикой. В Средние века, во времена феодализма, ум человеческий был погружен в тяжелую дремоту, а пробуждение наступило лишь вместе с торжеством монархических и особенно демократических начал.

Если бы Ренан в своих суждениях о значении демократии в умственном развитии Европы основывался на несомненных данных, то он не мог бы проглядеть знаменательного совпадения могущественного научного и демократического движений, –

совпадения, характеризующего XIX век. Быть может, влияние демократии оказалось неблагоприятным в области изящных искусств (балет и так называемое кулинарное искусство, надо полагать, особенно при этом пострадали), но наука при демократическом строе, несомненно, только выиграла, потому что прогресс в ней зависит главным образом от совместной деятельности такой массы ученых, которой не может выдвинуть никакая аристократия, а тем более олигархия, являющаяся, по мнению Ренана, высшим идеалом общественного и государственного устройства.

Правда, ренановская олигархия – это аристократия ума; ее власть над обществом представляется как бы осуществлением конечной цели мироздания, торжеством духа над материей. Но, выступая приверженцем великих идей, Ренан не верит в их освободительную и просветительную силу, не допускает, что под их влиянием человеческая природа со временем сможет усовершенствоваться, а народная масса сделается гуманной и разумной; нет, по его мнению, дух лишь путем насилия может восторжествовать над человеческой толпой, обреченной на безысходное вечное невежество.

Ренану кажется особенно естественным и вероятным, что в отдаленном будущем государственная власть перейдет в руки нескольких великих людей, которые, владея высшими тайнами науки, будут господствовать над толпой, подобно Зевсу-Громовержцу обуздывая непокорных ударами всесокрушающей молнии, или, говоря проще, огнем каких-нибудь усовершенствованных орудий, чудовищных разрывных снарядов и т. п. Но возможно, что в конце концов вся власть над миром сосредоточится в руках одного высокопросвещенного неограниченного монарха. Можно себе представить, что по прошествии тысячелетий какой-нибудь великий изобретатель откроет такой ужасный взрывчатый состав, посредством которого он будет в состоянии угрожать существованию не только человечества, но и планеты, на которой мы живем. Конечно, если этот гений будет одарен высокопросвещенным разумом, то он воспользуется своим изобретением исключительно лишь в интересах человечества и, захватив неограниченную над ним власть, позаботится о том, чтобы превратить Землю в цветущий рай, в царство всеобщего мира, справедливости и благоденствия. Ренан не видит в этом ничего несбыточного, чудовищного и безнравственного. Ведь только с ограниченной личной точки зрения нам кажется возмутительным такой порядок, когда жизнь миллионов людей, всего человечества и наконец целого мира будет сведена к неограниченному господству одного или

нескольких высших человекоподобных или богоподобных существ, а Земля сделается настоящей игрушкой в их руках. Конечно, он сознает, какие громадные жертвы должны быть принесены, пока осуществится высшая цель вселенной – господство разума, но ради такой цели, по его мнению, можно всем пожертвовать. А человеческая толпа всегда мирилась с тем, чтобы великие ученые за нее думали, святые молились, а герои действовали. Если когда-нибудь все эти разрозненные высшие функции соединятся в одной великой личности, облеченной к тому же властью, то тем лучше для толпы. Но Ренан забывает об одном, – что истинные ученые, герои, святые и вообще все благодетели человечества, питая глубокое отвращение ко всякому насилию, никогда не стремились к порабощению себе подобных. Напротив, люди противоположного типа, не задумываясь, пользовались великими изобретениями вроде паровых машин и телеграфа для осуществления своих противообщественных замыслов. И если бы торжество идеи зависело от грозной силы кулака, то на земле угасли бы давно последние проблески истины. Как мог идеалист Ренан забыть, что идеи справедливости, красоты и правды развиваются лишь в человеческой душе, а потому не могут быть проведены в жизнь путем насилия и угроз? Очевидно, его мечта о всемирном господстве собрания мудрецов, вооруженных бичами и разрывными бомбами, – чудовищная иллюзия, развившаяся под сильным впечатлением таких ужасных событий, как франко-германская война и Коммуна. Писатель, неутомимо трудившийся над решением вечных вопросов религии, морали и эстетики, человек, вся жизнь которого была посвящена служению великим идеалам, в конце концов возмутился против буржуазного общества, преданного исключительно делу наживы, и с презрением отвернулся от мнимо-культурных поколений и народов, готовых пролить потоки крови из-за клочка земли или политического преобладания.

К несчастью, Ренан так и остался до конца своих дней профаном в политике, насколько вообще такой умный и талантливый писатель может быть профаном. Благодаря своему бретонскому происхождению и клерикальному воспитанию он не мог в должной мере оценить громадного значения современных стремлений ко всеобщему образованию и благосостоянию, и оттого его суждения о ближайших событиях не отличались особенным беспристрастием и широтою взгляда. Он видел лишь одну сторону медали. А литературная слава, которой он добился благодаря своему необыкновенному таланту и познаниям, заставила его еще сильнее перечувствовать всю горечь разлада с

окружающим обществом. Без сомнения, недомыслие и грубость современной толпы неоднократно являлись для Ренана источником глубоких и тяжелых страданий. Быть может, это было для него даже одним из величайших бедствий. Но ведь такова уж судьба всех выдающихся людей. Долг истинного героя и мудреца в том и заключается, чтобы стать выше своих личных впечатлений и страданий, забыть все тяжкие обиды и до конца сохранить веру в благородство человеческой души. В литературной деятельности Ренана встречаются минуты глубоких колебаний, сомнений и даже отчаяния, но все-таки он сохранил веру в человека, составляющую, в сущности, всю силу гения. Несмотря на все свое показное презрение к толпе, Ренан являлся горячим защитником свободы развития, высказываясь против теорий, направленных к ограничению самых бесспорных прав человеческой личности.

В этом отношении особенного внимания. заслуживает лекция о значении национальной идеи, прочитанная им в Сорбонне 11 марта 1882 года и впоследствии напечатанная в сборнике под заглавием «Современные вопросы». Здесь Ренан подвергает тщательному исследованию современные господствующие воззрения на значение нации и сущность национального права. На основании общеизвестных исторических фактов он с неумолимой последовательностью доказывает всю ошибочность и несостоятельность этих воззрений. Особенно он восстает против мнимого права наций путем завоеваний определять свои так называемые «естественные границы». Прежде всего он задается вопросом, могут ли горы и реки служить такими границами, и приходит к заключению, что если горы действительно разделяют, то реки ведь скорее соединяют, и что от Торнео до Биаррица нет устья реки, которое имело бы более разграничительный характер, чем, например, Сена, Луара, Эльба, протекающие в центре государств. А горные хребты, по крайней мере в Европе, сплошь и рядом не совпадают с существующими государственными границами. Поэтому очень распространенный в наше время взгляд, что границы нации как бы предначертаны на географической карте и что государство имеет право с мечом в руках добиваться их, представляется в высшей степени нелепым и даже опасным.

Но и раса, и общность языка сами по себе не имеют еще решающего значения в вопросах о национальности. Язык, по выражению Ренана, не принуждает к единению, а лишь способствует ему. В истории раса не составляет всего, как, например, у пород хищников и грызунов. К тому же с развитием культуры роль ее становится все более и более ничтожной. Никто не имеет права ходить по миру и хватать встречных за горло с

криком: «Ты нашей крови, а потому ты наш!» Да и каким образом определить границы расы, когда они под влиянием исторических событий почти бесследно исчезли. Величайшие нации, например английская, французская, русская, сложились из чрезвычайно разнородных племенных элементов, и в смешении последних, а не в обособленности, заключается одно из важнейших условий успешного развития. В конце концов приходится убедиться, что для создания сильной нации еще недостаточно ни общности языка и происхождения, ни удобных территориальных границ и военных успехов, ни даже солидарности между сословиями в области промышленных и чисто материальных интересов. Нация, по мнению Ренана, прежде всего есть дух или великий исторический принцип. Два фактора порождают этот дух и создают жизненный национальный идеал; с одной стороны, это обладание общими наследственными воспоминаниями, а с другой, – желание жить и трудиться сообща ради сохранения дорогого исторического наследия. Таким образом, в национальном чувстве любовь к прошлому неразрывно связана с надеждами на светлое будущее. Истинная слава, воспоминания о подвигах национальных героев и о минувших бедствиях, желание страдать, наслаждаться и надеяться вместе со своим народом – вот сущность патриотизма, который не может быть возбужден никакими искусственными и принудительными мерами. В вопросах о национальности, по мнению Ренана, решающим фактором должно являться преобладающее чувство и симпатии населения.

Высказывая подобные взгляды вскоре после захвата Эльзаса и Лотарингии, великий писатель прекрасно сознавал, что они вызовут лишь презрение со стороны всех поклонников грубой силы. Но он не теряет надежды на лучшие дни. И эта надежда дает возможность Ренану мириться с самыми тяжелыми политическими разочарованиями. Его покладистость, если можно так выразиться, особенно наглядно проявляется в его философских драмах, в которых запечатлено не только миросозерцание Ренана, но еще в большей степени его симпатии и настроения. В первой драме, под заглавием «Калибан», появившейся в 1878 году, как раз в разгар борьбы клерикальной аристократии, руководимой герцогами де Брольи, Мак-Магоном и де Фурту, Бюффе и Шенелоном, с буржуазно-республиканской партией, Ренан дает полную волю своему отвращению к демократии. Воспользовавшись в общих чертах фабулой и персонажами шекспировской «Бури», он воплощает в лице благородного мудреца Просперо аристократию, в лице светлого духа Ариэля – идеализм и в лице Калибана (то есть каннибала,

дикаря, людоеда) – рабочий класс и вообще демократию. Действие происходит в миланских владениях герцога Просперо. Для большего посрамления демократии Ренан заставляет Калибана – «уродливого и дикого раба» – напиться до бесчувствия превосходным вином, украденным из погреба своего господина, и, лежа в луже вытекающего из незакрытых бочек напитка, очень красноречиво разглагольствовать о своем человеческом достоинстве и чести, об эксплуататорах и узурпаторах, о священных правах народа и грядущем восстании, повторяя при этом современные ходячие фразы. Чистый дух Ариэль напрасно пытается его переспорить и образумить. Калибан не обнаруживает ни малейшего раскаяния; напротив, воспользовавшись оплошностью Просперо и его пренебрежением к общественным делам, он своими горячими речами возбуждает чернь к бунту, а в конце концов захватывает диктаторскую власть в свои руки. Он выказывает при этом ловкость и такт настоящего политического деятеля вроде Гамбетты, успевая расположить к себе и народ, и буржуазию. Мало того, он является в некотором роде даже покровителем искусства и просвещения, защищая своего бывшего властелина и политического врага от преследований инквизиции, требующей Просперо к суду по обвинению в ереси. Ренан оказывается настолько оптимистом, что и в победе ненавистной ему демократии над благородным герцогом готов видеть хорошую сторону: дикий Калибан, достигнув власти, быстро развивается и становится совсем благородным.

Продолжение этой драмы, или, вернее, политического памфлета, напечатанное в 1881 году под заглавием «Живительная вода», по содержанию своему еще сложнее «Калибана» и также преисполнено намеков на современные политические события, хотя действие происходит в XIV веке. Ренан очень мрачными красками изображает распущенность папского двора в эпоху авиньонского пленения. Делами церкви заправляет папская любовница Бруниссенда. Насилие и разврат царствуют повсюду. Мудрец Просперо опустился и, по-видимому, на все махнул рукой, отдавшись всецело поискам живой воды, чудной эссенции, обладающей свойством возрождать стариков, а Калибан обнаруживает такую политическую мудрость, что с его властью мирятся даже его заклятые враги. Просперо под именем ученого Арно отправляется странствовать. По-видимому, его поиски за «живительной водой» увенчались успехом. Он, подобно Фаусту, из ученого превращается в искателя земных наслаждений и, проповедуя воздержание лишь для тружеников науки, требует увеселений для простого народа. К нему обращаются сильные

мира сего за несколькими каплями возрождающего напитка. Папа Климент мечтает о возврате минувших дней юношеского веселья и любовных наслаждений. Посланник германского императора требует живой воды для каких-то политических целей и, насильно выхватив бокал у Арно, напивается до бесчувствия, произнося заплетающимся языком грозные тевтонские речи о несокрушимой силе меча, никогда не вводящего в обман, о превосходстве политики «крови и железа», – речи, которые еще так недавно раздавались на празднике князя Бисмарка. Француз, напротив, отведав напитка, произносит самые благородные слова. А Просперо в виде нравоучения поясняет, что живая вода лишь пробуждает скрытые в нас способности и чувства. «Это идеал, который никогда не увядает. Сила, возрождающая нас, есть чистота нашей души», – говорит он. В конце концов все прекрасно устраивается. Ариэль влюбляется в очаровательную красавицу, воспитанную в монастыре для известных удовольствий, посредством которой пытались было соблазнить Просперо. Под влиянием страсти «светлый дух» становится обыкновенным смертным и получает выгодную синекуру от благополучно царствующего Калибана. А мудрец Просперо, изведавший все обольщения жизни, тихо умирает «с улыбкой на устах». В следующей драме, озаглавленной «Священник из Нэми», Ренан проводит глубоко печальную мысль, что в общественной жизни чаще всего торжествуют преступные и безнравственные деятели, а благородные идеалисты вроде героя пьесы жестоко платятся за свои добрые дела, направленные ко благу человечества, и что вообще реформы даются нелегко и сопряжены с большими опасностями благодаря тупости и умственной косности масс. Однако в конце концов добро и правда должны восторжествовать. В последней драме, под заглавием «Жуарская игуменья» («L'abbesse de Jouarre»), изображается как бы примирение старого и нового общества в силу любви. Под развращающим влиянием идеи о краткости земной жизни сначала просыпаются и побеждают грубые инстинкты, но наступает час неизбежного пробуждения и возрождения лучших идеалов. Добродетель торжествует и получает подобающую награду. Итак, даже на склоне своих дней, несмотря на весь свой показной скептицизм, на испытанные им разочарования и тяжкие труды, Ренан является неисправимым идеалистом и оптимистом. У писателя несомненно искреннего эта черта таланта, сказавшаяся в целом ряде наиболее зрелых произведений, конечно, не может быть объяснена ни случайностью, ни лицемерием. Что же поддерживало веру Ренана в идеал среди глубоко индифферентного и легкомысленного французского общества?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть в сокровенную глубину миросозерцания «жизнерадостного скептика», как называли Ренана, выяснить основоположения его философской системы. В следующей главе мы и постараемся это исполнить.

Глава VII

Философия Ренана.

Великий писатель не может избегнуть великих вопросов об истине, справедливости, назначении человека и вселенной, вечно волнующих нашу мысль, и Ренан постоянно задумывался над этими вопросами. Испытывал ли он в минуты раздумья тот трепет перед грядущим неизвестным, ту безысходную глубокую тревогу, которая является источником величайших мучений для человека? По-видимому, и он не избегнул общей участи всех сомневающихся и жаждущих веры людей, потому что в его воспоминаниях, философских драмах, исторических этюдах, в его публицистических статьях, в его письмах и речах ясно сказывается презрение к житейским заботам и часто повторяется вечный вопрос о конечной цели жизни и всех человеческих стремлений. Он не хочет и не может примириться с безнадежной действительностью. Жизнь сама по себе, без идеалов и надежд, жизнь для жизни кажется ему ужасной, невозможной, чудовищной нелепостью. «Первой моей мыслью, – сказал Фейербах, – был Бог; второй – разум, третьей и последней – человек». Эти слова вполне применимы и к Ренану; он следовал тому же процессу мышления.

Несомненно, испытав в юности, подобно Фейербаху, влияние Гегеля, он во всем существующем готов был видеть воплощение идеи и ценил человека лишь как орудие этой высшей идеальной цели. Но, к сожалению, он слишком часто смешивал понятия Бога и идеи, попеременно переходя от теологических воззрений к метафизическим и позитивным. Вот почему так трудно иногда его понять.

«Слово *Бог,* – говорит Ренан в своих этюдах по истории религий, – вошло во всеобщее употребление; оно является таким великим символом поэзии, добра и красоты, что без него нам трудно выражаться о возвышенных предметах. Напрасно было бы говорить простому человеку, чтобы он жил стремлениями к истине, добру и красоте, – для него это лишь пустые слова, а скажите ему, чтобы он любил Бога больше самого себя и боялся гнева Всемогущего, и он вас прекрасно поймет. Бог, Провидение, бессмертие – все это старые слова, но никто их не устранит. Бог навсегда останется высшим выражением наших сверхчувственных стремлений, категорией идеала, точно так же, как время и пространство являются категориями тел, то есть формами познания материи». «Тайна первоначальной причины всех вещей, – говорит он в другом месте, – не может быть постигнута

человеческим умом; разрешается она не законами, а великими поэмами (то есть религиозными системами). Абсолютный разум и справедливость проявляются лишь в человечестве; вне его абсолют представляется отвлеченным понятием. Бесконечное действительно существует лишь тогда, когда оно принимает законченные формы. Бог видим в его делах и воплощениях».

Затем, очевидно под влиянием минутного религиозного настроения, Ренан говорит, что было бы богохульством точно определять природу божества и давать ему какие-либо наименования. «Верно лишь одно: Бог существует». А книгу «О будущем метафизики» он заканчивает следующей пламенной молитвой:

«Отец небесный! Не знаю, что ждет нас в будущем? Или та вера, от которой Ты не позволяешь отречься, есть божественное утешение, ниспосланное, чтобы наша жалкая участь не казалась нам невыносимой? Или это только иллюзия, которой Ты нас лишаешь по своей бесконечной доброте? Или это глубокий инстинкт, откровение, данное лишь праведным? Или, быть может, истина до того ужасна, что нам ничего не остается, кроме отчаяния? Но, должно быть, Ты не хотел, чтобы мы избавились от мучительных сомнений, так как только вера в добро, вытекающая из внутреннего настроения, является действительной заслугой. Будь благословен за свою таинственность, благословен за то, что, скрывшись от нас, ты нам оставил свободу наших сердец».

И наконец, усталый, почти на краю могилы, он пишет:

«Ничто не убеждает нас в существовании всеобъемлющего мирового сознания, души вселенной, но и для безусловного отрицания подобного бытия нет тоже оснований. Теперь нет места для чудес, но может быть по прошествии многих тысячелетий они свершатся. В сущности весь человеческий опыт сводится к одному мгновению в бесконечном развитии. Жизнь людей напоминает развитие бактерий в закрытом сосуде. Если бы эти существа обладали познающим критическим умом, они тоже могли бы прийти к сознанию, что в мире – этом крохотном сосуде в сравнении с бесконечностью – нет признаков влияния посторонней разумной воли. Но вот настал урочный час. Опыт создания окончен. Ученый исследователь вскрыл сосуд и заглянул в него, чтобы проверить те изменения, какие должны были совершиться в назначенное время, и вмешательство разумной воли в жизнь бактерий стало очевидным. То, что мы называем бесконечным временем, быть может, лишь мгновение между двумя актами разумного создания мира. Не будем ничего ни отрицать, ни утверждать, будем надеяться. Всему есть время, когда-нибудь настанет день всеобщих похорон, рыданий,

заупокойных молитв и жалобного пения».

В одном из своих последних произведений Ренан опять взывает к Богу:

«Отец небесный, благодарю Тебя за жизнь. Я был не без греха, но я любил истину и все ради нее принес в жертву. Я ждал, когда настанет Твой час, и еще верю, что он настанет».

Вот эту всеобъемлющую идею Бога, или конечной цели человеческого и всемирного развития, или абсолютной истины, как угодно, Ренан и положил в основу своей философской системы, изложенной с таким блеском, но без особенной последовательности в его «Философских диалогах и отрывках» (1876 год), в его юношеском произведении «Будущее науки» («L'Avenir de la science», изд. в 1890 году), в его философских драмах и небольшой статье под заглавием «Философская исповедь» («Examen de conscience philosophique», 1888 год). Особенного внимания заслуживают его философские диалоги. Ведутся они от лица нескольких ученых-друзей и разделены на три части по степени достоверности высказанных умозаключений. К первой категории относятся несомненные выводы, ко второй – вероятные и к третьей – мечты. По убеждению Ренана несомненно, что в мире все связано неразрывной цепью причин и следствий, что ни одно звено из этой цепи не может быть исторгнуто посторонней волей существа, стоящего выше сферы естественных явлений. По крайней мере подобные нарушения в установленном естественном порядке никогда не были наблюдаемы в собрании беспристрастных ученых. Напротив, бесчисленные факты убеждают нас в чудовищной и бессознательной жестокости природы.

История народов говорит нам постоянно о победах злых и себялюбивых рас над религиозными и кроткими. В частной жизни мы сплошь и рядом видим то же самое: как часто труженики умирают от истощения и лишений, а негодяи и лентяи благоденствуют. Никогда падающий камень не уклонился в сторону, чтобы не упасть на голову праведника и гения. Никогда самое глубокое отчаяние и пламенные молитвы не вернули умирающего к жизни, и с незапамятных времен земля жадно пьет кровь и слезы как добрых, так и злых, а солнце светит не только для святых страдальцев, но и для палачей. Жизнь с незапамятных времен идет своим естественным путем, не обращая ни малейшего внимания на страждущее человечество, а потому нет оснований допускать, что когда-нибудь давным-давно на свете жилось лучше. Впрочем, не наше дело доказывать влияние сверхъестественных сил на человеческую судьбу. Эти силы могут быть постигнуты лишь через откровение. Но мы его не испытали.

Кому же верить, если мы не можем довериться даже нашим собственным глазам? Какие у нас доказательства, что русалки и циклопы никогда не существовали? Только одно, – что никто ничего подобного не видел. Почему люди перестали верить в демонов? Очевидно, только потому, что были открыты естественные причины приписываемых им действий. Но из того, что ход событий не нарушается вторжением сверхъестественных сил, еще не следует, что вселенная – хаос и что надо всем царит слепой случай. Напротив, существование высшей цели мирового развития, по уверению Ренана, несомненно. Есть что-то в мире, развивающееся в силу скрытой внутренней энергии, под влиянием бессознательного инстинкта, который напоминает нам стремление растений к свету, влаге и теплу или усилия созревшей личинки порвать свою оболочку. Все возможное стремится перейти в действительность, все действительное путем постепенного развития идет к еще более высокому самосознанию. Организованные тела, точно влекомые какою-то силой, подвигаются вперед, приобретая бессознательно необходимые орудия для этого движения. Общины, народы, государства и вообще все собирательные и общественные организмы наравне с животными подчинены закону постепенного развития, в основе которого чувствуется стремление к осуществлению какой-то всеобъемлющей программы, к восполнению необходимых частных форм. И что всего удивительнее, очень часто личности и виды действуют как будто вопреки своим наклонностям и очевидным расчетам. И во главе этого мирового движения выступает человек. Но с этим мнимым царем природы судьба поступает особенно безжалостно. Она обманывает его на каждом шагу, никогда не открывая ему своих карт. И как бы ни были велики знания человека и власть его над силами природы, ему в конце концов не избегнуть проигрыша в этой ужасной игре, которая зовется жизнью, потому что в решительный момент всегда является беспощадная смерть, захватывающая своей костлявою рукой последнюю ставку и разбивающая все наши надежды на личное счастье. Положение самого обездоленного поденщика на фабрике все-таки лучше участи человека на Земле, потому что фабричный рабочий получает определенную плату за свой труд, а человек, истощаясь в погоне за счастьем, в конце концов ничего не получает. Он трудится, страдает, борется за свое существование, вертится как белка в колесе, воображая, что бежит к желанной цели. Какая ужасная иллюзия! Цель несомненно существует, но она никогда не совпадает с нашими желаниями, и мы идем совсем не туда, куда нам угодно… И если бы по крайней мере мы могли постигнуть мировую волю и предвидеть свою участь! Но и

этого утешения нам не дано… Природа ведет человека на смерть с завязанными глазами.

Здесь Ренан как будто сходится с прославленными пессимистами нашего времени: Шопенгауэром, Гартманом и другими. Но это лишь случайная встреча, не более. Мы одурачены, говорит Шопенгауэр, мы связаны по рукам и ногам, мы обречены на бесконечные страдания, будучи вынуждены исполнять жестокие веления какой-то воли, действующей вне нас. Воля эта очевидно безумна, убеждает Гартман, так как она действует бессознательно. Цель разума – раскрыть безумие мировой воли, лежащее в основе жизни, и уничтожить эту вопиющую бессмыслицу. Очевидно, подобные мыслители, как вообще все пессимисты, стоят на стороне человека, бесконечно страдающего в силу своего умственного превосходства и физического бессилия перед природой.

Ренан в этом великом бесконечном споре человека с судьбою становится всецело на сторону последней. Но почему именно? На этот вопрос напрасно было бы искать у Ренана категорического и полного ответа. Как человек, когда-то беззаветно веривший, он сохранил до конца своих дней такую безотчетную покорность перед неведомой высшей волей, что одна мысль о бесконечности наполняет его сердце трепетом. Иногда трудно даже разобрать, рассуждает ли он, говоря о ней, смеется или молится, но несомненно, что он, подобно Гегелю, отождествляет силу с идеей и не допускает бесцельного движения и бесцельной жизни. Вот почему, несмотря на все свои сомнения и разочарования, он является все-таки оптимистом, как и большинство идеалистов. Материя, по его мнению, лишь средство осуществления абсолютной идеи. В этом стремлении к действительной жизни и кроется неиссякаемый источник всякого развития. Груда кирпичей – еще не здание, и скрипка лишь в руках артиста звучит неизъяснимой мелодией. Идеалы истины, добра и красоты – это чудные, душистые цветы жизни, которыми усыпан наш тернистый путь. Они быстро увядают и гибнут в грязи, но творческая сила идеи неистощима. Вместе с солнечными лучами на Землю льются целые потоки счастья, и, вечно возрождаясь, истина и красота в конце концов дают некоторый излишек самопознания и благополучия на Земле. Когда-нибудь, быть может, погибнет и планета, на которой мы живем, а вместе с нею и все надежды наши, но бесконечное развитие совершается в таком неизмеримом пространстве, что эта катастрофа нисколько не отразится на судьбе вселенной и цель ее существования раньше или позже будет достигнута. Кто знает, быть может новорожденная звезда, дрожащие лучи которой с недосягаемой

высоты еще не озарили страждущей Земли, станет когда-нибудь колыбелью той божественной правды, о которой напрасно мечтали безвинные страдальцы и величайшие герои человечества. Но впрочем, говорит Ренан, пока нет оснований отчаиваться в возможности окончательного торжества этой правды еще и на Земле. Если верить научным вычислениям, ей суждено благополучно вертеться вокруг Солнца еще несколько миллионов лет. Конечно, в сравнении с вечностью это пустяки, но и за это время человечество может достигнуть такого высокого развития, о котором мы теперь не в силах составить даже приблизительного понятия. Влияние науки начало сказываться не особенно давно, а между тем она уже творит настоящие чудеса, которые и не снились нашим мудрецам. Великие победы знания – вместе с тем победы и добра. Кто знает, где находятся пределы великих завоеваний человеческого духа?

С точки зрения Ренана, отчаяние наших дней не только великая ошибка, но и грех. Лишь жалкие пигмеи или негодяи могут восставать против мировой идеи. Мудрец же должен покориться своей судьбе, надеяться, трудиться и терпеть… Когда разум говорит, наши личные желания должны молчать… Развитие истины есть явление безотносительное и независимое от воли человека. Процессы мозговые, как и пищеварительные, совершаются в нас, но без нас, и результаты их при наличии известных условий так же неизбежны, как неизбежны сопутствующие им физические и химические явления… Поэтому нам следует по возможности ограничиваться скромною ролью наблюдателя и твердо помнить, что всякое восстание против естественных законов и высших целей влечет за собой жестокое возмездие и горькие разочарования. Зато какое глубокое значение приобретает вся наша жизнь, когда мы все наши силы добровольно отдаем на служение идее в надежде на великое торжество правды и добра. Конечно, нас ждет смерть на поле битвы и никому из ныне живущих не суждено насладиться плодами победы, но что делать! В мировой борьбе за правое дело лучше быть верным солдатом, чем мятежником и презренным изменником. Чистые и кроткие сердцем, святые страдальцы, герои и гении найдут всегда успокоение и награду в отрадном сознании, что они – соль земли, что в них воплощаются высшие идеалы человечества, что они являются провозвестниками грядущего Бога. Из беззаветной веры, из чистых слез и скорби праведников, из крови мучеников за великие идеи и создается исподволь то царство божие на Земле, царство вечных идеалов добра и правды, к которым, в сущности, всегда стремилось измученное человечество. А природа?.. Стремилась ли она?

Совпадают ли ее цели с человеческими стремлениями? Кто знает, быть может, где-нибудь за тысячи миллионов верст действительность давным-давно превзошла все наши самые смелые ожидания. Положим, на Юпитере или Венере нет ни чиновников, берущих взятки и обманывающих свое начальство и народ, ни лицемерных монахов, ни тружеников, умирающих с голоду, ни пресыщенных развратников, но нам-то, жалким обитателям Земли, от этого не легче! Какое же нам дело, что через три тысячи миллионов лет земной рай очистится от всяких грешников и негодяев, если нам, невзирая на все наши подвиги и жертвы, не суждено никогда насладиться вечным несказанным блаженством? Какая же тут справедливость?

На все эти простые вопросы у Ренана нет прямых ответов. Где доказательства, что природа стремится к осуществлению наших идеалов? Наука нам их не дает, нет их и у Ренана. Он сознает всю необходимость веры в существование Бога и в бессмертие души для того, чтобы безропотно трудиться и страдать, не надеясь на вознаграждение и счастье в этой жизни. Но тут уже мы вступаем в такую область, где разум человеческий бессилен перед чувством. Все верующие твердо убеждены, что их ждет награда по заслугам или казнь… там, в стране теней, откуда еще никто назад не возвращался. Но это царство теней и тайн закрыто от нас непроницаемой завесой. «Мы, – говорит Ренан, – прекрасно чувствуем в глубине нашего сознания как будто голос из другого мира, но мы не знаем, какой это мир». Таинственный голос из бесконечности говорит нам о каких-то безотчетных радостях, о непостижимых ужасах и о таком величии, в сравнении с которым все земное лишь жалкий прах, вздымаемый бурным вихрем безумных страстей. Любовь, религия, поэзия и добродетель – лишь мгновенные проблески охватывающей нас бесконечности. С пошлой житейской точки зрения все, что не подлежит точной практической оценке, – мечта или безумие; но несомненно, что вся наша теперешняя жизнь в сущности безумная мечта, и, если бы угасла вера в идеал, действительность утратила бы всякий смысл и привлекательность, а человечество должно было бы остановиться в своем развитии, охваченное непроглядным мраком. Назло практическим людям весь мир существует лишь ради идеальной цели, и таинственный голос, говорящий нам о высшей правде и бесконечном счастии, есть лишь чудный отзвук «гармонии небесных сфер, музыки бесконечности». Любовь есть самый могущественный из всех творческих инстинктов, господствующих над природой и созданных высшей волей. Ее громадное значение обусловлено ее всеобщностью. Зародыши ее, по-видимому, заключаются уже в организованной клеточке, и

таким образом этот всепроникающий инстинкт связал все существа неразрывной цепью, а разделение полов придало ему особенную силу и привело как в физическом, так и в умственном отношении, к поразительным результатам. Из него главным образом развилось чувство красоты, тогда как еще более возвышенное сознание долга, сказывающееся так сильно в материнском инстинкте даже у животных, в истории человечества получило дальнейшее развитие благодаря религии.

Итак, все благороднейшие стремления человеческой природы, проистекая из бесконечности, запечатлены несомненно божественным характером. Но бессмертна ли человеческая душа в силу присущей ей способности отзываться на голос бесконечности, – кто знает?! Чем более мы живем, тем сильнее сознаем необходимость верить в существование Бога и в бессмертие души, но вместе с тем мы замечаем и непреодолимые препятствия, мешающие нам отдаться всем сердцем чувству веры. В этом весь ужас нашего положения: мы не можем ни безусловно верить, ни безусловно отрицать. Но если даже у человечества нет выбора между верой и добровольным отречением от свободы исследования, то лучше пусть человек в поисках за истиной погибнет, потеряв чувство веры, чем впадет в непроходимое невежество, отказавшись навсегда от попыток постигнуть истину. Жизнь без возможности бесконечного развития не может иметь для нас никакой цены. Бессрочное тюремное заключение хуже смерти. Человечество превратилось бы в громадный муравейник, если бы оно не стремилось раздвинуть тесные пределы своей жизни и не страдало от несбыточных мечтаний… Вера в Бога и бессмертие души пока – увы! – лишь чудная, великая мечта, которая путем опыта не может быть доказана, но от которой мы не в состоянии отрешиться. Нам остается поступать так, как будто наши лучшие верования не подлежат сомнению. Мы признаем их безусловную необходимость, но из этого еще не следует, что они безусловно истинны. И наконец, кто знает?.. Ведь в бесконечности все возможно. Непостижимые предчувствия по прошествии миллионов лет, быть может, вдруг станут несомненным фактом: мертвецы проснутся в своих заброшенных могилах, а вся наша жалкая действительность уйдет в область ужасных сновидений. Не надо забывать, что все наши теперешние понятия о времени и пространстве в высшей степени условны. То, что нам кажется бесконечно великим, быть может, только ничтожная частица другого, неведомого нам мира, который, в свою очередь, лишь капля в беспредельном океане бытия. А с другой стороны, бесконечно малое для нас является, пожалуй, целою вселенной для каких-нибудь бактерий.

Итак, в конце концов Ренан ничего не разрешает и ничего не дает нам, кроме смутной надежды на вечное блаженство в недоступном для нас идеальном мире. Но этот грядущий мир, эта абсолютная цель всякого существования, эта всепроникающая идея или непостижимый всемогущий Бог, – как он относится ко вселенной? Создал ли он ее или только неразрывно связан с нею как цель с причиной? Ренан часто задавался этими вопросами, не подлежащими, впрочем, точному научному решению, и, конечно, отвечал на них лишь новыми загадками. Мы уже знаем, что его понятия о Боге почти неуловимы. По-видимому, он склонен к пантеистическому натурализму и отождествляет Бога с природой, идею с действительностью, но вместе с тем идея у него обособляется от мира в смысле высшей безусловной цели. Однако понятия цели и причины тоже относительны, как и понятия времени и пространства. Идея цели необходимо связана с понятием движения, всякое движение совершается в пространстве, без среды движение немыслимо, а понятие среды и бесконечности несовместимы. Следовательно, понятие цели представляется нам ограниченным и конечным не только в будущем, но и в прошедшем, не только во времени, но и в пространстве… Но если цель возникла из вселенной лишь впоследствии, то она не является абсолютной и всеобщей, так как у вселенной могут найтись уже теперь или появиться со временем и другие цели; цели же привходящие должны быть и преходящими, пожалуй, даже случайными. Если же цель, в смысле идеи, предшествовала вселенной, то она отождествляется с ее причиной, но в таком случае конечной целью мироздания не может служить, как думает Ренан, выработка всеобъемлющего сознания, потому что такое сознание уже послужило его первой причиной. Если, наконец, цель *отождествляется* безусловно со вселенной, то разделять эти два понятия, хотя бы даже в бесконечности, как это делает Ренан, нет ни малейшего основания. В том именно и заключается вечная роковая ошибка всех метафизиков, что они навязывают вселенной наши относительные человеческие понятия. Ренан не избегнул общей участи. Его великая попытка примирить религиозные верования с новейшими научными воззрениями должна быть признана безуспешной. Создать подобную систему мог, конечно, только гений. Какая смелость мысли, какое богатство творческого воображения! Мы точно видим величественное здание, по красоте своей превосходящее даже прославленный собор Петра и Павла в Риме, но здание – увы! – построенное из карт…

Верил ли сам Ренан в незыблемость своей философской системы или, напротив, считал философию лишь праздной

забавой, позволяющей нам хоть на мгновение забыться и усыпить терзающие нас сомнения, – вот вопрос, имеющий громадное значение для литературной характеристики еще не разгаданного писателя. Амиэль, один из самых искренних мыслителей XIX века, напрасно искавший у Ренана положительного и определенного ответа на вечные вопросы человечества, прямо обвиняет его в легкомысленном к ним отношении: «Осмеивайте фарисеев, – горько упрекает он автора „Философских диалогов“ и „Истории христианства“, – но говорите откровенно с честными людьми». И этот упрек, по-видимому, не лишен основания. Действительно, непроглядный туман скрывает от читателей все основоположения ренановской системы. Все выступает в каком-то чарующем таинственном полумраке, а секрет этого эффектного освещения, в сущности, очень прост. На вечные вопросы человечества о Боге и природе Ренан с легким сердцем дает, как известно, самые противоречивые ответы. То он обращается с пламенной молитвой к всемогущему, всеведущему Богу, отожествляя его волю с целью вселенной, то, наоборот, понимает эту цель как нечто бессознательное, как равнодействующую всех естественных сил. Наконец, в юношеском своем произведении, изданном в 1890 году под заглавием «Будущее науки», Ренан отождествляет понятия Бога и механической цели вселенной. Высший момент мирового развития, по его мнению, наступит лишь тогда, когда «из всего сущего возникнет равнодействующая, которая и будет Богом, как в человеке душа является равнодействующей всех элементов, составляющих ее». Автор очень картинно изображает этот момент всеобщей бесконечной гармонии, когда вся материя, образующая вселенную, достигнет самой совершенной организации, когда миллионы солнц, сплотясь в неразрывное и совершенное целое, послужат материалом для создания одного существа, чувствующего, мыслящего, живущего, поглощающего своими огненными сладострастными устами все окружающее и без устали низвергающего в бесконечность целые потоки жизни и блаженства. Тогда, по мнению Ренана, и наступит третий совершеннейший момент в мировом развитии, соответствующий моменту полного синтеза в умственном развитии человечества, которое после состояния первобытного *синкретизма,* то есть общего неясного взгляда на все окружающее, путем *анализа* изолированных явлений должно достигнуть совершенного понимания мира как во всей его совокупности, так и в частях.

Все это очень утешительно, но кроме утешения философия должна стремиться и к положительному знанию, а иначе ведь, лишенная научного характера, она рискует превратиться в

суррогат религии для вольнодумцев, да еще в суррогат весьма сомнительного качества, ибо в смысле утешения и успокоения, конечно, никакая философия не в состоянии тягаться с религией не только христианской, но даже, пожалуй, и магометанской. Однако в наше смутное время немало найдется мыслителей, утративших непосредственные юношеские верования и пытающихся найти в философии ответ на чисто религиозные вопросы о Боге, о цели мироздания и т. п. Ренан, по-видимому, принадлежит к этой категории. Самостоятельного научного значения за философией он не признает; по его мнению, это не наука, а лишь что-то вроде необходимого дополнения к системе наук. Она составляет, по выражению Ренана, очень хорошую приправу к ним, но сама по себе кушаньем служить не может. Отстаивая эту точку зрения, он последовательно отвергает психологию, основанную, по его мнению, преимущественно на пустых предположениях, диалектику приравнивает к средневековой схоластике, этику же понимает весьма своеобразно, сравнивая добродетельного человека с художником. Благородный подвиг и всякое доброе дело, говорит он, подобно чудной музыкальной поэме и великолепному изваянию, являются, так сказать, результатом непосредственного вдохновения. Следовательно, суть нравственности, в смысле прочной основы человеческого благополучия, заключается в широком духовном развитии личности. К этому и сводится, вообще, деятельность благоустроенного правительства. Право на развитие является высшим и основным правом человека, определяющим весь правовой и государственный строй. «Прогресс человечества – вот суть права, – говорит Ренан. – Все идущее вразрез с ним есть беззаконие; прогресс же, наоборот, все оправдывает».

Но в чем же именно заключается природа прогресса? Ренан не решил этого вопроса, затемнив его фантастическими размышлениями о непостижимой цели вселенной, о Боге и вообще об абсолютных сущностях, не поддающихся научному исследованию. Мы понимаем вполне Ренана, когда он под влиянием священных юношеских воспоминаний обращается с пламенной мольбой к непостижимому Богу, но мы останавливаемся в недоумении, когда он нам говорит о целях мироздания и о миллионах солнц, сплотившихся в одно организованное мыслящее существо. Легко сказать – миллионы солнц!.. Но если бы хоть один человек мог наглядно себе представить, что это значит, то, вероятно, его бедная голова закружилась бы от всеподавляющего величия бесконечности. К чему же эти гордые мечты о вечном и непостижимом, когда вселенная для нас почти столь же необъятна, как и земной шар

для навозного жука. Без сомнения, идея всеобщего развития, охватывающая весь доступный нашему познанию мир в течение ряда тысячелетий, является величайшей идеей, до какой мог возвыситься человеческий ум, но и посредством этой идеи нам не дано постигнуть бесконечного. Напротив, понятие прогресса и может быть надлежащим образом выяснено лишь путем научного исследования и сопоставления определенной группы фактов. Всякая особь развивается лишь в пределах своего рода и вида, стремясь через приспособление к среде достигнуть возможно полного воспроизведения всех характерных, типических особенностей последнего. Человек в данном случае не представляет исключения; его развитие заключено в определенные формы семьи, общины, государства и человечества. Отразить в своей личной жизни лучшие общечеловеческие стремления, сохранив при этом все свои индивидуальные, родовые и национальные особенности, – вот высший идеал человека, какой до сих пор успевали осуществить лишь немногие гении и герои. Но не было ни одного человека, который в своих деяниях и мечтах вышел бы из пределов общечеловеческого развития. Идея человечества, таким образом, является высшим научным, философским и нравственным критерием[3] точно так же, как понятие единого Бога представляет высшую религиозную формулу. Современная наука прежде всего должна стремиться к разграничению чувства и разума, знания и веры. Религиозные понятия Бога и конечной цели бытия могут интересовать ученого и философа не сами по себе, а лишь в смысле исторических и психологических фактов, дающих возможность поглубже выяснить законы общечеловеческого развития. Предоставляя чувству вопросы веры, отказываясь от надежды достигнуть абсолютного знания, наука стремится лишь к знанию общечеловеческому, – знанию, ограниченному условиями человеческой организации, но зато вполне достоверному, определенному и доступному для всех людей. Не дело ученого гоняться за тайнами четвертого измерения, и без того работы довольно. Ренан не хотел, а в качестве воспитанника семинарии, пожалуй, и не мог примириться с этими существенными требованиями философии и науки XIX века и потому на каждом шагу впадал в явные противоречия. Туманность его философских воззрений проистекает главным образом из неверного взгляда на задачу и методу философии. Сам он считал себя мыслителем-критиком, примыкающим к позитивной школе, но это просто недоразумение. Ренан расходится не только с О. Контом, против которого он неоднократно высказывался, но и с новокантианцами и с новокритической школой в Германии, как ее понимают К.

Геринг, Паульсен, Авенариус и другие ее выдающиеся представители. Неудивительно, что философская система Ренана никого не могла удовлетворить. Являясь несостоятельной с научной точки зрения, она в то же время вызвала неудовольствие и у искренних метафизиков вроде Амиэля. «Он негодует, – замечает Ренан в своей статье, посвященной этому мыслителю и написанной в 1884 году, – что я, говоря о возвышеннейших предметах, порою не удерживаюсь от иронии и улыбки. Что за беда! В данном случае я поступаю, как подобает философу. Непроницаемая тьма, быть может для нашего же блага, скрывает от нас нравственные цели мироздания, а между тем спорят и пререкаются без конца о том, чего в сущности никто не знает. Истинный же наш интерес – real acierto, на испанский лад – заключается вот в чем: внутреннее побуждение, заставляющее нас преклоняться перед долгом, является как бы оракулом, непоколебимым призывом, притекающим к нам извне и служащим проявлением объективной реальности. Мы полагаем всю нашу гордость в том, чтобы твердо отстаивать это убеждение. Прекрасно: за это следует держаться даже вопреки очевидности. Но, чего доброго, столько же имеется шансов и за то, что истина лежит на противоположной стороне. Возможно, что этот внутренний голос проистекает из благородных заблуждений, скрепленных приобретенным навыком, а мир в сущности не более как забавная фантасмагория». «Быть готовым ко всему – вот, может быть, истинная мудрость. Отдаваться, следуя минутному настроению, то вере, то скептицизму, то оптимизму, то иронии – вот верное средство по крайней мере хоть изредка приблизиться к истине. Вы мне скажете, что таким образом нельзя никогда постигнуть ее вполне. Ну конечно! Но так как вообще нет шансов, чтобы счастливый жребий проникновения в тайну бытия выпал на долю человека, то не благоразумнее ли умерить свои поползновения».

В этом ответе весь Ренан с его насмешливым и острым умом; но, к сожалению, от жгучих вопросов жизни нельзя отвертеться пустою шуткою. Они требуют положительного и прямого ответа. Ужасно весь век балансировать над бездной, то шутя, то молясь, то забываясь в труде. Ренан не испугался такого положения, но ведь он – гений, олимпиец в некотором роде, а люди сердечные и прямые, вроде Амиэля, замирают от ужаса, блуждая во мраке неизвестности, и с тревогой вопрошают себя: «Где же наконец спасение?» «Эх, Боже мой, – отвечает Ренан, – да спасение в том, что всякому дает силу нести бремя жизни. Средства спасения далеко не одинаковы для всех: для одного это добродетель, для другого – жажда истины, для третьего – любовь к искусству, для

иных – любознательность, честолюбие, страсть к путешествиям, роскошь, женщины, богатство; наконец, на самой низкой ступени развития – морфий и алкоголь. Праведники ищут награды в добродетели, а заурядные люди – в наслаждениях. Но все в большей или меньшей степени одарены воображением, составляющим нашу высшую радость, очарования которой не стареют». Однако нельзя же жить одним воображением и на все смотреть исключительно с личной точки зрения. Когда автор в числе жизненных утех рядом с добродетелью и правдой ставит морфий и алкоголь, то остается лишь заметить, что он недостаточно разборчив при оценке различных предметов. Кроме личной точки зрения есть еще научная, открывающая нам возможность, основываясь на опыте человечества, разобраться в самых сложных социальных и нравственных вопросах. Ренан не воспользовался в достаточной степени теми средствами, какие представляет современная наука, и это немалое упущение. Но гению простится многое, если только он искренно стремился к благим целям, а Ренан был несомненно искренний человек, неизменно веривший в прогресс человечества. Несмотря на всю изменчивость настроения Ренана, эта вера, в сущности, никогда его не покидала; она проявлялась и в его упорном труде над сложными историческими вопросами, и в пламенных молитвах, обращенных к всеведущему Богу, и даже в его вечных колебаниях и крутых переходах от сомнения к надежде и от увлечения наукой к насмешке над господствующими воззрениями. Во всех его произведениях сказывается искренний идеалист, не только глубоко веривший в конечное торжество добра над злом, в вечное развитие и совершенствование человеческого сознания, но и сумевший внушить эту веру своим многочисленным читателям. А это – великая заслуга, искупающая с избытком все невольные увлечения Ренана.

Глава VIII

Последние годы Ренана. – Праздник в Брея. – Болезнь, смерть и похороны великого писателя.

Много лет прошло с тех пор, как Ренан, сбросив рясу, почти без средств и связей, попал в шумный водоворот неведомой ему парижской жизни. Постепенно он, если можно так выразиться, пером завоевал столицу мира. Он приобрел славу величайшего писателя Франции, какой в свое время пользовались только Вольтер, Руссо, отчасти Шатобриан и Виктор Гюго. Насколько была велика известность Ренана как ученого-семитолога, красноречиво свидетельствует тот факт, что еще в ноябре 1860 года Императорская академия наук в С. – Петербурге избрала его в свои члены-корреспонденты, а в 1874 году он был избран членом Академии наук в Лиссабоне. Даже Тэн, несмотря на всю его громадную эрудицию, необыкновенный философический ум и образцовый по ясности и красоте слог, должен был уступить первенство Ренану, что, впрочем, нисколько не помешало их дружеским отношениям. В конце концов и враги Ренана должны были преклониться пред его гением. В июне 1878 года, несмотря на противодействие клерикальной партии, он был избран членом Французской академии на место Клода Бернара, но принятие в кружок «сорока бессмертных» состоялось только в 1879 году. Особенно против избрания Ренана ратовал его бывший воспитатель епископ Дюпанлу, объявивший, что он откажется от звания члена Французской академии, если в число «бессмертных» попадет такой безбожник, как автор «Жизни Иисуса». Благодаря столь решительному протесту избрание Ренана замедлилось на несколько лет. Еще раньше в письме к одному из своих приближенных Дюпанлу объявил, что его бывший ученик никогда не посмеет взглянуть ему прямо в глаза. Однако все эти предсказания оказались несбыточными, и Французская академия в конце концов открыла свои двери перед прославленным писателем. Дюпанлу отказался от своих угроз и не вышел из собрания «сорока бессмертных», а Ренан, приняв избрание, очевидно не испугался взглядов своего бывшего покровителя и после многих лет разлуки и вражды встретился с ним лицом к лицу как товарищ по академии и как победитель в борьбе за славу и успех. Но, даже достигнув величайшей известности и влияния, Ренан не забыл своей родной Бретани. Без сомнения, из любви к погибающим памятникам прошлого и остаткам старины он основал в 1879 году Кельтское общество, которое развивалось настолько успешно, что число его членов от пяти возросло уже к

1884 году до ста пятидесяти. В 1888 году Ренан был назначен командором Ордена Почетного легиона. Но по мере того, как возрастал успех Ренана и увеличивалось его литературное влияние, усиливалась и вражда к нему в клерикальном лагере. С очевидной целью скомпрометировать автора «Жизни Иисуса» в некоторых листках появились апокрифические письма Ренана, подложность которых он не счел нужным разоблачать. Между прочим его обвиняли даже в продажности: распустили слух, что за вышеозначенное сочинение он получил миллион франков от Ротшильда. Казалось, молчание Ренана, вообще не читавшего направленных лично против него статей, окончательно выводило из терпения его врагов. Его громили с церковной кафедры, а ультрамонтанские листки и журналы просто неистовствовали, особенно «L'Univers» во главе с такими правоверными редакторами, как Вейо (Veuillot) и Годлевский. Но все подобные обвинения и нападки, по-видимому, лишь способствовали популярности Ренана. В парижском обществе он пользовался не только славой первоклассного писателя, но и увлекательного собеседника и лектора. Аудитория его всегда была переполнена. Знатные иностранцы по прибытии в Париж спешили побывать у него, и хотя они, вероятно, не раз мешали Ренану работать и надоедали банальными разговорами, тем не менее он встречал всех с неизменной, можно сказать даже изысканной, любезностью. Брандес, посетивший его в 1870 году, следующим образом описывает впечатление, произведенное на него Ренаном:

«Входя, я увидел за письменным столом человека небольшого роста, широкоплечего, несколько сутуловатого, с тяжелой большой головой; нечистый, землистый цвет лица, грубые черты, глубокий взгляд и мудрые, даже во время молчания выразительные губы. Некрасивое, но привлекательное лицо с выражением высокого ума и сосредоточенной энергии было обрамлено темными, уже поседевшими на висках волосами. Вся внешность Ренана напоминала мне один из его афоризмов: „Наука запечатлена мужицким характером“. В преклонном возрасте Ренан сильно ожирел, и лицо его обрюзгло. Внешностью он не производил впечатления особенно интеллигентного человека, но стоило ему заговорить, чтобы сразу увлечь своих слушателей. Все окружавшие его, а тем более родные, находились как бы под обаянием его светлого ума и приветливого, спокойного характера, и его семейная жизнь сложилась особенно счастливо. Его сын со временем приобрел некоторую известность как талантливый художник, а дочь вышла замуж за барона Псишари, профессора восточных языков в Сорбонне. Среди семьи и ученых друзей мирно и благополучно прошла почти вся

трудовая жизнь Ренана. Сорок четыре года с лишком он неутомимо работал на литературном поприще и состарился среди научных занятий, но до последней минуты его воображение и разум сохранили поистине юношескую живость и свежесть. Уже в преклонном возрасте он написал свои прелестные „Воспоминания детства и юности“ и два рассказа под заглавием „Трепальщик льна“ и „Эмма Козилис“, в которых с неподражаемой простотой и художественностью изобразил чистую, глубокую любовь простых бретонских девушек, стыдливо скрывающих свои сердечные раны даже от самых близких людей и в своем целомудрии доходящих до настоящего героизма или безумия. Наряду с этими поэтическими произведениями Ренан в последние годы обогатил семитологию такими специально-научными трудами, как „История раввинов“ и „Свод семитических надписей“ („Corpus inscriptiorum semiticarum“), доведенный, впрочем, до конца при сотрудничестве товарищей Ренана по Академии надписей. В то же время он успел закончить и свой капитальный труд – „Историю израильского народа“, последние тома которой вышли уже после смерти автора. В этой изумительной, всесторонней, почти лихорадочной деятельности великого писателя в последние годы как будто сказывается предчувствие близкой кончины. Сознавал ли Ренан, что дни его сочтены? Спешил ли высказать свои задушевные мысли или искал в труде забвения от грустных старческих дум? Боялся ли он неизбежной развязки?.. Да, несомненно он сознавал приближение смерти и без тревоги ждал ее. Если бы даже он верил в бессмертие души, ему нечего было бы бояться упреков своей совести, ибо он никогда не изменял своим убеждениям. Нашлись, однако, наивные люди, пытавшиеся измучить старика угрозами загробных мук. Одна благочестивая, но довольно гнусная особа из Нанта в течение многих лет ежемесячно присылала ему анонимные письма с напоминанием о существовании ада. Вспоминая об этом со снисходительным презрением, Ренан высказывает надежду избегнуть вечного осуждения в загробной жизни. Впрочем, даже адские мучения, по его мнению, все-таки лучше полного уничтожения и небытия, ибо и в аду человек наверно сохранит хоть некоторую надежду на милосердие Творца и грядущее спасение. Чистилище же является в его воображении в виде чудного неизмеримого парка, озаренного неугасающим ровным светом полярного дня, где осуждены блуждать, пока не наступит час полного искупления и просветления, скорбные тени людей, не познавших на Земле блаженства чистой, возвышенной любви. Мрачные дантовские представления о загробной жизни чужды Ренану. Без сомнения, в своем идеализме он находит неиссякаемый источник утешения,

ибо, несмотря на показной скептицизм и отрицательное отношение к господствующим воззрениям, он до конца своих дней сохранил непоколебимую веру в конечное торжество добра и правды. Для всех верующих такой абсолютной правдой является единый всемогущий Бог; скептики и атеисты пытаются заменить это священное слово иными неопределенными терминами, но для людей вроде Ренана не в словах суть дела, а в глубоком убеждении, что эта правда (или Бог) в конце концов восторжествует над злом и что смысл всей нашей жизни заключается в служении вечной истине. В речи, произнесенной 29 июня 1890 года в Монмаранси над прахом Мицкевича, Ренан между прочим заметил, что этот незабвенный народный поэт был упоен бесконечностью и что вообще великими людьми являются лишь те, в которых воплощается один из моментов мирового сознания. Эти слова прекрасно характеризуют и самого Ренана: он тоже был проникнут идеей бесконечности, и наша жалкая действительность не могла его удовлетворить. Житейская пошлость возбуждала в нем лишь непреодолимое отвращение. Очевидно, он принадлежит к породе великих, исключительных людей, одаренных такой несокрушимой верой в идеалы добра и красоты, таким глубоким стремлением к истине, перед которыми бессильна не только жизнь с ее обманчивыми соблазнами, но даже смерть со всеми ее ужасами. Вот почему он выказал такую мощь в своих произведениях, такую энергию в труде, такое глубокое презрение к оскорблениям и преследованиям своих врагов, такое радостное настроение в преклонном возрасте и такое спокойствие в виду приближающейся смерти. В своих „Воспоминаниях детства и юности“ он замечает, что жизнь его похожа на прелестную прогулку по живописной местности. Точно какая-то неведомая сила или воля добрых богов охраняла его в самые опасные минуты. Он счастливо избегнул крупных ошибок, которые могли бы пагубно повлиять на его личную судьбу. Лишь благодаря исключительно благоприятному стечению обстоятельств он из глухой Бретани попал в Париж, где получил доступ к источникам современной науки; и он разумно наслаждался всю жизнь, утоляя свою глубокую жажду знания. По мнению Ренана, для человека мыслящего, который спокойно созерцает окружающее, наше время – сущий клад. Его нельзя назвать ни особенно счастливым, ни тем более великим, но оно, без сомнения, интересно и способно затронуть в высшей степени наше любопытство; оно богато всякими неожиданными политическими событиями и крупными изобретениями, и, словом, в наше время можно весь век прожить, не скучая, в надежде, что благодаря всеобщему развитию сумма добра и

счастья в мире не уменьшается, а исподволь и постепенно растет. Бесконечная благость, проявившаяся, по словам Ренана, во всей его жизни, дает ему основание надеяться, что вечность тоже преисполнена неиссякаемой доброты. Ему ничего не остается больше желать в старости, как легкой и внезапной смерти. Он не ищет страданий, подобно стоикам, ибо, по его мнению, непомерные страдания унижают, расслабляют человека и побуждают его к богохульству. Он заранее протестует против тех безумных слов и поступков, которые он мог бы сказать и совершить под влиянием болезни и предсмертного отчаяния. Ренан, наполовину разрушенный смертью, по его словам, не может иметь ничего общего с убежденным писателем, каким он являлся в лучшие годы своей жизни. Последние желания Ренана сбылись: судьба послала ему хорошую, светлую старость и сравнительно легкую смерть…»

В сентябре 1891 года Ренан, уже состарившийся и немощный, по приглашению своих друзей-земляков посетил остров Бреа, где он когда-то, еще будучи подростком, задумчиво бродил по скалистому берегу, прислушиваясь к глухому шуму морских волн и уносясь мечтами далеко в будущее. Вспоминая о безвозвратно минувших днях детства, в своей ответной речи на приветствие местного мэра Ренан с грустью замечает, что ему пришлось осуществить едва ли четвертую долю своих смелых юношеских мечтаний. Но ведь и этого для человека вполне достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым и на склоне своих дней смотреть на результаты своей деятельности с радостным чувством земледельца, наполнившего свои житницы. «Когда-то в юности, – сказал Ренан, – я был более печален, чем теперь, ибо я боялся умереть слишком рано, не успев осуществить того, что таилось в сокровенной глубине сознания». И все-таки старость пришла слишком рано: дела хватило бы на несколько жизней. Ренан глубоко сожалел о том, что он уже не успеет написать ни задуманной им истории французской революции, ни подробнейшей истории Афин, изображающей последовательно, чуть ли не день за днем, процесс развития науки, искусства и свободной мысли, ни истории родной Бретани в шести томах, ни, наконец, изучить китайский язык с целью критического исследования всех вопросов, касающихся китайской истории и литературы.

Но, высказывая все это не без грусти в кругу друзей-земляков, Ренан имел такой оживленный вид и успел так увлечь своею речью все общество, что никому не верилось в близость роковой развязки, да и сам оратор, вероятно, надеялся еще хотя бы немного пожить и поработать. Однако с наступлением зимы он

подвергся жестоким припадкам межреберных болей, по его мнению, связанным с невралгией. Это и было начало болезни сердца, осложнившейся впоследствии воспалением легких и послужившей причиной его смерти. Ренан долго не сдавался, заканчивая свои литературные работы и читая аккуратно свои лекции в Коллеже, хотя он лишь с большим трудом добирался до аудитории.

В июле он затосковал по своей родной Бретани и перебрался туда с семьей. Но воздух родины и могучее дыхание океана не принесли больному особенной пользы; и он мечтал лишь о том, чтобы вернуться в Париж и умереть среди своих учеников и любимых книг. Возвращение в шумную столицу и усиленные литературные и научные занятия, конечно, очень неблагоприятно отразились на здоровье Ренана, и в воскресенье, 2 октября 1892 года, в полседьмого утра, наступила наконец развязка, неизбежность которой была очевидна не только для окружающих, но и для больного. Еще накануне он сказал жене: «Смелее! Необходимо подчиниться законам существа, проявляющегося в нас». После глубокого раздумья он прибавил: «В 70 лет дни человека сочтены». Но это было сказано скорее в виде утешения: больной очевидно понимал, что он не доживет и до этого предельного возраста. Еще за два часа до кончины Ренан, казалось, спокойно спал. В пять часов утра больной проснулся, сказал несколько слов жене, дочери и сыну. Потом он еще пытался работать и лишь за несколько мгновений до смерти вдруг вскричал, прервав диктовку: «Я вижу ясно!» Потом, как будто восхищенный чудным видением, великий писатель прибавил: «Наведите Солнце на Акрополь».

Это и были, если верить свидетелям, его последние слова. Необходимо заметить, что юркие парижские журналисты сочинили по поводу смерти Ренана много всяких небылиц, приписав ему явно вымышленные предсмертные изречения, которых он не мог произнести в подобную минуту. Палата депутатов решила принять похороны Ренана на счет республики, – честь, оказываемая лишь немногим деятелям, смерть которых является национальным горем.

Заключение

Как мыслитель и ученый Ренан, конечно, не может быть поставлен в один ряд с Контом, Спенсером, Дарвином и Миллем. По силе творческого и литературного таланта он уступал Гете, Шиллеру и Байрону; но тем не менее ни один из великих писателей XIX века не сумел отразить в своих произведениях изменчивый, тревожный характер переживаемой нами эпохи так жизненно и. полно, как Ренан. Современный разлад, глубокие противоречия новейшего миросозерцания, возникшего в эпоху великих умственных переворотов и политической борьбы, сказались в его трудах с особенной силой именно потому, что он обладал не только необыкновенным умом, но и чрезвычайной впечатлительностью. Он был великим ученым и вместе с тем поэтом, скептиком и мечтателем-идеалистом, всю жизнь тосковавшим о безвозвратно утраченных юношеских верованиях. Благодаря несравненному богатству своей духовной организации и всестороннему развитию он является самым типичным писателем XIX века, – писателем, глубоко сознающим умственные запросы и стремления своего времени. Очевидно, современное миросозерцание, представляющее грубое стихийно-историческое сочетание новейших научных воззрений со средневековыми предрассудками и уцелевшими обломками давно и безвозвратно погибшего греко-римского мира, не могло удовлетворить Ренана, после того как его юношеская беззаветная вера была поколеблена. Он неутомимо искал исхода из мучивших его противоречий. Его долголетняя литературная деятельность представляет целый ряд смелых попыток в этом направлении. В своих поисках истины он не раз заходил слишком далеко, впадал в крайности и несомненные противоречия, но, несмотря на все свои ошибки и колебания, никогда не изменял основному принципу всей своей жизни и литературной деятельности – идее развития. Еще юношей, без имени, связей и средств к существованию, Ренан не задумался ради *свободы своего развития* сбросить рясу, отречься от карьеры, которая наиболее соответствовала его наклонностям и влечениям, порвать свои отношения с церковью и любимыми наставниками, навлечь на себя преследования могущественной клерикальной партии, даже после смерти не пощадившей его доброго имени и заклеймившей его самыми грубыми ругательствами и проклятиями.

С первых уже шагов на литературном поприще и до конца своих дней он в сущности являлся, несмотря на горькие разочарования и терзавшие его подчас сомнения, самым

убежденным проповедником идеи развития, великой руководящей идеи, лежащей в основе современного умственного прогресса. В этом, главным образом, и заключается положительное значение его произведений и его несомненная заслуга. В разъяснении и развитии этой идеи он сыграл, наряду с величайшими мыслителями и учеными XIX века, совершенно определенную и, быть может, самую ответственную и неблагодарную роль: Конт применил идею развития к истории и философии абстрактных наук, Спенсер – к социологии и психологии, Дарвин – к естествознанию, а Ренан – к этике и экзегетике. Конечно, труды этих мыслителей являются лишь первыми несовершенными попытками в указанном направлении.

Но в чем же, однако, заключается сущность этой великой идеи развития в связи с вопросами нравственности, философии и религии? Прежде всего, конечно, в надлежащем беспристрастном научном понимании роли и назначения человека, то есть его отношения к природе и человечеству. Только благодаря такому пониманию, составляющему одну из величайших побед человеческого духа, представляется ныне возможной научно-критическая оценка различных исторических мировоззрений и постепенное освобождение человечества из мрака невежества и суеверий. Но понимание истинной своей роли далось человеку не легко и не сразу. Прошло несколько тысячелетий, пока он путем ужасных бедствий и разочарований дошел до убеждения, что он не бог и не царь вселенной и что созданные им идеалы не обладают никакой властью над явлениями природы. Но даже после этого человек еще долго отожествлял свои личные измышления с велениями божества и не мог освободиться от высокомерной и дикой претензии действовать и говорить от имени богов. Давно ли инквизиторы тысячами отправляли своих ближних на костер в полном убеждении, что они свято исполняют заветы Христа?! И если в наши дни веротерпимость, свобода совести и слова – не пустой звук, то этим человечество обязано прежде всего успехам знания и критического духа. С тех пор как человек начал понимать, что познание истины может быть достигнуто лишь путем постепенного развития и трудового общения целого ряда человеческих поколений с целью изучения явлений природы, и возникло, в сущности, новейшее миросозерцание. Лежащая в основе его идея всеобщего развития представляется неизбежным результатом человеческого самосознания и самоопределения. Она всецело основана на предположении, что умственный прогресс человечества, как и эволюция познаваемого нами мира, не только целесообразны, но и подчинены неизменным законам, что в истории рода

человеческого нет места для случайностей и что из цепи естественных явлений нельзя выдернуть, в сущности, ни одного звена. Остается, следовательно, отбросив все произвольные теологические и метафизические объяснения природы, заняться научным исследованием неизменной последовательности явлений и законов исторического развития. Вот единственный путь к познанию истины. Как свет фонаря и костра никогда не заменит света солнца, так и наши личные идеи, служащие лишь бледным отражением действительности, никогда не избавят нас от необходимости изучения явлений природы; ибо только путем такого изучения мы постепенно достигаем истинного знания.

Все эти основные положения теории развития, впрочем, лишь намечены у Ренана, но не проведены последовательно до конца. В своих исследованиях по истории религий он с большим искусством показал весь вред религиозного фанатизма и все безумие человеческого высокомерия, стремящегося отожествлять мелкие личные воззрения и дела с божественной волей. Он учил, что лучшие наши надежды и верования, как и наши тела, со временем превратятся в прах и бесследно исчезнут в бесконечной смене явлений. Одно лишь стремление человека к познанию истины, то есть к Богу, по существу своему священно и бессмертно, потому что оно не угаснет на Земле, пока живы люди. Мы знаем, какое громадное значение Ренан придавал христианству в развитии человечества, однако он не избегнул обвинений в безбожии и нечестии. Кто успел составить себе хоть некоторое понятие о его безукоризненной частной жизни и литературной деятельности, тот оценит по достоинству подобные обвинения. Очевидно, писатель, всю жизнь трудившийся над разрешением вопросов религии и морали и принесший столько жертв ради свободы своей совести и своего развития, не мог быть ни атеистом, ни бесшабашным скептиком, каким его пытались выставить враги. Скептицизм очень часто служил для него лишь надежным средством влиять на легкомысленную и малоразвитую публику и скрыть перед толпой глубокую душевную тоску об утраченных идеалах. Придавая громадное значение чувству веры в развитии человечества, Ренан в интересах этого развития восставал лишь против крайнего догматизма, направленного, в сущности, к порабощению человеческого разума и критического духа. Он сознавал всю опасность человеческого самомнения, фанатизма и суеверия, благодаря которым так часто величайшие заблуждения служили предметом поклонения в течение многих веков, являясь перед коленопреклоненной толпой под священным покровом истины.

Но, проповедуя относительность всех человеческих понятий и

неизбежность их постепенного совершенствования, Ренан не отрицал абсолютной истины, то есть существования неизменного начала в природе. Напротив, отсюда он выводил необходимость всеобщего развития. Он не допускал ничего случайного в эволюции природы и человечества прежде всего потому, что идея случайности несовместима с идеей развития, основанной именно на предположении целесообразности и единства сил природы. Целью мира, по мнению Ренана, является развитие духа, а свобода есть необходимое условие духовного развития. Но что такое дух? В чем именно заключается неизменное абсолютное начало? Ренан пытался дать такое решение этого вечного вопроса, которым мог бы удовлетвориться и ученый, и художник, и всякий верующий человек. С научной точки зрения неизменным началом познаваемого мира является определенная последовательность всех его явлений, то есть так называемый закон природы. Для человека верующего воля всемогущего, всеведущего Бога – вот единственный закон природы, а для художника весь смысл жизни, цель всякого существования заключается в неувядающей бессмертной красоте.

Развитие человечества, как и вселенной, – не простая случайность, а результат всеобщего стремления к усовершенствованию, к осуществлению идеалов истины, добра и красоты. И в философской системе Ренана эта идея целесообразности всего существующего, идея естественного неизменного закона и понятие о Боге довольно подробно разработаны, но стоят они особняком. Его попытки синтеза религии, искусства и науки на основании идеи развития оказались безуспешными. Очевидно, он взял задачу не по силам, и, вероятно, понадобится еще труд целого ряда поколений и целой армии ученых, пока решение столь великой задачи окажется возможным; а мыслитель, который сумеет подвести окончательные итоги идеи развития в смысле синтеза религии и науки, без сомнения, явится одним из величайших благодетелей рода человеческого.

Ренану, несмотря на его гений и поразительное трудолюбие, не было суждено сделаться таким благодетелем. Но все-таки недаром он приобрел славу великого писателя; недаром он возбудил столько споров, сомнений, восторгов и вражды. Его громадное влияние на умственное развитие Европы и его научные заслуги не подлежат сомнению. Как отнесутся к его деятельности будущие поколения – неизвестно, но без сомнения имя этого великого писателя-труженика не будет забыто, пока человечеству дороги успехи знания и свобода развития.

Источники

1. *Gabriel Monod.* Les maitres de l'histoire: Renan, Taine, Michelet. Paris, 1894.

2. *Paul Lapeyre.* Renan peint par lui-même. 1893.

3. *E. Caro.* L'idée de Dieu et ses nouveaux critiques. 1889.

4. *Paul Janet.* La Crise philosophique. 1865.

5. *J. Lemaitre.* Les Contemporaines: E. Renan. Vol. V.

6. *E. Renan.* Souvenirs d'enfance et de jeunesse. 1892.

7. *E. Renan.* Feuilles detachées. 1892.

8. *Brunschwigg.* Sur la Philosophie d'Ernest Renan («Revue de Métaphysioque et de Morale», № 1, 1893).

9. *M. de Vogue***.* Après M. Renan («Revue des deux Mondes», 15 Nov., 1892).

10. *Jules Simon.* M. Renan («La Revue de Paris», № 2, 1894).

11. *Sainte Beuve.* Nouveaux lundis. Vol. II. Ernest Renan. Paris, 1888.

12. *Eliza Orzeszkowa i Dr. Zlotnidd.* Ernest Renan. («Ateneum», 1886 и 1892).

13. *Ks. M. Morawski.* Wczem tkwi sita Renana? 1893.

На русском языке:

14. *Ал. Введенский.* Современное состояние философии в Германии и Франции. 1894.

15. *Г. Брандес.* Новые веяния. Пер. Э. Ватсона. 1889.

16. *Поль Бурже.* Очерки современной психологии. 1888.

17. *Н.Н. Страхов.* Борьба с западом. 2-е изд.

18. *Критикус.* Период второго Храма в освещении Ренана, и другие статьи («Восход», кн. 6, 1886, кн. 8-9, 1888, апрель и май 1894).

19. *Л. – С-н.* Философские взгляды Эрнеста Ренана («Русское обозрение», 1892, кн. 9-10).

20. *Николаев.* Ренан как беллетрист, и другие статьи («Русское обозрение», май и июнь 1893, октябрь – декабрь 1892).

21. *Л.З. Слонимский.* Философские драмы Ренана, и другие статьи («Вестник Европы», кн. 11—12, 1892, и кн. 1, 1893).

22. Жизнерадостный скептик («Исторический вестник», ноябрь 1892).

23. *К.К. Арсеньев.* Философская драма Ренана «Калибан» («Вестник Европы», январь 1879).

notes

Примечания

1

Вот перечень его научных трудов: 1) «Всеобщая история семитических языков» (1848 год), удостоенная премии Вольнея; 2) Исследование «О происхождении человеческой речи» («De l'origine du langage», 1848 год); 3) «Об изучении греческого языка в Средние века» (1850 год), монография, удостоенная 2-й награды; 4) «Аверроэс и аверроизм», исторический этюд (1852 год); 5) Переводы из Библии: «Книга Иова» (изд. в 1858 году), «Песнь Песней» (1860 год) и «Екклесиаст» (1881 год), со вступительными этюдами относительно эпохи возникновения, плана и характера этих книг; 6) «Финикийская миссия», о поездке в Сирию и Палестину с научной целью (1864—1874 годы)

изготовленная напоказ *(Словарь В. Даля)*

3

Подробнее это выяснено в сочинении автора под заглавием «Основы современного развития». СПб. 1893 г. Стр. 65—70